

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

С О В Е Т С К И Й К О М И Т Е Т С Л А В И С Т О В

Д. С. ЛИХАЧЕВ

НЕКОТОРЫЕ
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ
ВТОРОГО
ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО
ВЛИЯНИЯ В РОССИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1958

Свой доклад я посвящаю теме, исключительно важной в истории культурного развития России XIV—XV вв., но очень мало исследованной.

До сих пор недостаточно определены те области культуры, в которых проявилось второе южнославянское влияние. Неясно, сказывалось ли это влияние только в графике письменности, орфографии, языке и стиле литературных произведений, как это определялось А. И. Соболевским¹, или оно в той же мере касалось живописи, архитектуры, церковной жизни, идейных течений. Неясно, были ли эти отдельные стороны влияния объединены каким-либо общим культурным движением, охватившим все области культуры южно- и восточнославянских стран, или следует говорить об отдельных, разрозненных влияниях в отдельных областях культуры. Неясно также, в какой мере южнославянское влияние в России соединялось с византийским. Чрезвычайно важным представляется всесторонне изучить вопрос об органичности сочетания второго южнославянского влияния в России с русским влиянием в южнославянских странах. Наконец, совсем не сделано попыток отделить явления взаимовлияния славянских культур от явлений, вызываемых единством их происхождения и возможной синхронностью их развития.

Только по выяснении всех этих проблем можно будет во всеоружии отчетливых представлений о самом влиянии приступить к изучению исторических причин, его вызвав-

¹ А. И. Соболевский. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках.— В кн. «Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков». СПб., 1903 (отдельно: «Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. Речь, читанная на годичном акте Археологического института 8 мая 1894 года проф. А. И. Соболевским». СПб., 1894).

ших, и ответить на вопрос о внутренней потребности и внутренней подготовленности русской культуры к восприятию южнославянского влияния.

Наиболее обстоятельная из работ, посвященных второму южнославянскому влиянию в России, — отмеченная выше работа А. И. Соболевского, — в большей мере констатировала это влияние, чем его изучала.

Само собой разумеется, что мое краткое сообщение ни в коей мере не может претендовать на окончательное разрешение какого-либо из тех сложнейших вопросов, которые стоят перед их будущими исследователями — лингвистами, литературоведами, искусствоведами и историками. Задача моего сообщения — обосновать правомерность постановки некоторых из вышеперечисленных вопросов изучения второго южнославянского влияния, в частности — вопросов об объеме влияния и о его характере.

1. ОБЪЕМ ВЛИЯНИЯ

Какие же явления второго южнославянского влияния могут считаться в настоящее время достоверно установленными?

Проще всего решается вопрос в отношении графического оформления рукописей. Как известно, в XV в. старший полуустав сменяется младшим полууставом. Различия их достаточно четко выяснены в науке. Это почерки различного характера, смешать которые опытному палеографу невозможно. Существенно, что между ними нет никаких переходов. И, вместе с тем, младший полуустав, не завися от старшего, совершенно ясно выражает свою зависимость от южнославянской графики — от письма болгарских и сербских рукописей.

Различия младшего полуустава и старшего — это различия не только в начертаниях букв, но и в составе алфавита. Младший устав имеет ряд букв, которых не знает старший полуустав и устав (*ѵ*, *ѷ* с первой частью в виде *ѷ*, *Ѹ*), и наоборот (иотированное *ѣ*, *ѣ* наклонное к началу строки, *ѷ* с первой частью в виде *Ѹ* и др.).

Различия младшего полуустава и старшего хорошо определены А. И. Соболевским² и довольно отчетливо сформу-

² А. И. С о б о л е в с к и й. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. 1—3.

лированы В. М. Щепкиным³, и нет поэтому нужды останавливаться на них особо.

Существенное дополнение к положениям А. И. Соболевского и В. М. Щепкина относительно влияния южнославянского полуустава на русский дает статья М. Н. Сперанского ««Греческое» и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV—XVI веков»⁴, где устанавливается не только южнославянское, но и непосредственное греческое влияние на почерки русских рукописей (влияние греческого минускульного письма).

С той же степенью четкости определяются различия и в орнаменте рукописей. Рукописи, писанные старшим полууставом, орнаментируются в зверином (тератологическом, или чудовищном) стиле. Рукописи же, писанные младшим полууставом, сопровождаются орнаментом геометрическим. Опять-таки, как и в почерках, переходные формы отсутствуют и второй стиль (геометрический) стоит в явной связи с южнославянским орнаментом.

При этом различия обоих стилей сказываются не только в характере рисунка, но и в различном подборе красок⁵.

Можно заметить и некоторые различия в миниатюрах, но последние с точки зрения второго южнославянского влияния совершенно не изучены.

Наконец, М. Н. Тихомиров предполагает, что делопроизводственная манера склеивать документы в столбцы также пришла к нам от южных славян, у которых наиболее ранний документ в форме столбца датируется последней четвертью XIV в. (до 1382 г.— грамота Иоанна Шишмана Витошскому монастырю)⁶.

Сложнее обстоит дело с орфографией и литературным языком. Явления в области орфографии и литературного языка, связанные с южнославянским влиянием, довольно

³ В. М. Щепкин. Учебник русской палеографии. М., 1920. Гл. XI—«Южнославянская письменность»; гл. XII—«Южнославянское влияние в России»; гл. XIII—«Русские полууставные почерки».

⁴ Byzantinoslavica, t. IV, 1932, стр. 58—64.

⁵ Наиболее авторитетный анализ обоих стилей см.: В. Н. Щепкин. Учебник русской палеографии. М., 1920 (1918), стр. 55—58.

⁶ М. Н. Тихомиров. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в.—«Славянский сборник», Госполитиздат, М., 1947, стр. 177. Снимок см.: Г. А. Ильинский. Грамоты болгарских царей. М., 1911, приложение 6

отчетливо суммированы у А. И. Соболевского⁷. Они объединяют следующие тенденции: 1) стремление отделить книжный язык от народного, 2) установить более или менее устойчивые правила правописания, 3) приблизить язык к первоначальному церковнославянскому языку, «очистив» его от позднейших народных элементов, 4) уничтожить в языке и орфографии местные русские особенности, 5) приблизить язык и орфографию к «материнскому» — греческому (в орфографии — употребление двух *г* вместо *нг*, *б* вместо *п* после *м*, *д* вместо *т* после *н*; подражание греческому в синтаксисе, в неологизмах и т. д.).

С изменениями в области орфографии и литературного языка связано также появление в России перенесенного из южнославянских стран «плетения словес» — особого литературного стиля, возникшего в Болгарии в Евфимиевскую эпоху и устойчиво сохранявшегося в России вплоть до XVII в.

На стиле второго южнославянского влияния нам придется особенно подробно остановиться в дальнейшем. Характер этого стиля представит существенный интерес для определения некоторых особенностей второго южнославянского влияния.

Уже из только что приведенных данных совершенно ясно, что южнославянское влияние тесно сочеталось с влиянием византийским. Это последнее сказывалось в России как опосредствованно (через южных славян), так и непосредственно. Следы византийского влияния могут быть отмечены в графике рукописи (см. выше), в орфографии (см. выше), в новообразовании (например, сложные слова с начальным *добро*: *добронравие*, *доброгласие* и т. п.), в орнаменте (геометрический — неовизантийский орнамент) и т. д. Мало изучен вопрос о византийском влиянии в области стиля «плетения словес», но и здесь это влияние несомненно. Однако ярче всего сопутствовавшее южнославянскому византийское влияние может быть продемонстрировано на самом содержании письменности этого периода.

Большинство литературных произведений, перенесенных к нам в XIV—XV вв. от южных славян, — это переводы с греческого. Оригинальные южнославянские произведе-

⁷ А. И. С о б о л е в с к и й. Переводная литература Московской Руси XIV—XV веков, стр. 3—4.

ния (главным образом жития) составляют сравнительно небольшую часть перенесенных к нам памятников письменности. Здесь новые редакции переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, Служебных миней, гимнографической литературы, Песни песней, Слов Григория Богослова, Лествицы Иоанна Лествичника, Пандектов Никона Черногорца, Вопросо-ответов псевдо-Афанасия, Жития Антония Великого, Жития Варлаама и Иоасафа, Синайского патерика, Слова Мефодия Патарского и др.⁸, с другой стороны, переводы новых, ранее неизвестных в славянском тексте сочинений Василия Великого, Исаака Сирина, аввы Доротея, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д.⁹.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются и русские переводы: в Константинополе, на Афоне¹⁰ и непосредственно в России. Переводами с греческого занимался сам митрополит Алексей¹¹ и многие церковные деятели его времени. Преемник Алексея на митрополичьей кафедре Киприан списал в Константинопольском Студийском монастыре Лествицу Иоанна Лествичника (рукопись Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, собр. Моск. Дух. акад., № 152), а затем в Голенищеве под Москвой «многия святая книги со греческаго языка на русьский язык преложи и довольна списания к пользе нам остави»¹².

С фактами южнославянского и византийского влияния в области письменности должны быть сопоставлены и одновременные им факты южнославянского и византийского влияния в искусстве, с тем только различием, что если для письменности византийское влияние в XIV—XV вв. составляло в основном как бы часть южнославянского, то для

⁸ А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв., стр. 4.

⁹ Там же, стр. 5.

¹⁰ Рукописи переписывались на Афоне, в частности и для Троице-Сергиевского монастыря (И. Некрасов. Пахомий Серб, писатель XV века. Одесса, 1871, стр. 18).

¹¹ «Записки Академии наук», т. LXXI, стр. 116—117; Е. Голубинский. История русской церкви, т. II.—«Чтения в Обществе истории и древностей российских», кн. 1, 1900, стр. 213—221.

¹² «Книга Степенная царского родословия».— Полное собрание русских летописей (далее сокращенно — ПСРЛ), т. XXI, ч. 2. СПб., 1913, стр. 441.— То же известие и в других летописях.

живописи, напротив, южнославянское входило составной частью в объединяющее его византийское влияние. К сожалению, в распоряжении историков русского искусства нет сводной работы, подобной работе А. И. Соболевского «Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках». Между тем и в этой области есть бесспорные факты взаимообщения, сходные с теми, которые были констатированы для письменности А. И. Соболевским и В. С. Иконниковым¹³.

Около 1338 г. гречин Исая «с други» расписал церковь Входа в Иерусалим в Новгороде¹⁴. В 1344 г. греческие художники («греци, митрополичи письцы») работали у митрополита Феогноста в Москве, расписывая Успенский и Архангельский соборы¹⁵. В 1345 г. в Москве работал грек Гоитан с учениками, расписывая церковь Спаса на Бору¹⁶. Митрополит Алексей в 1357 г. вывез икону Нерукотворного Спаса из Константинополя и поместил ее в Андрониковом соборе в Москве¹⁷. В 1381 г., по повелению епископа Дионисия, были сделаны две копии с иконы Одигитрии в Константинополе и помещены в Богородице-рождественском соборе в Суздале и в церкви Спаса в Нижнем Новгороде¹⁸. В 1387—1395 гг. Афанасий Высоцкий прислал в свой Серпуховской монастырь «Деисис поясной» (ныне его части в Третьяковской галерее и в Русском музее)¹⁹. В 1398 г. в Москву была прислана из Константинополя икона «Спас, и ангели, и апостоли, и праведницы, а вси в белых ризах», а в Тверь — «Страшный суд»²⁰. В 1378 г. Феофан Грек расписывает Спасо-преображенскую церковь на Ильине улице в Новгороде²¹. В 1395/96 г. он переезжает в Москву

¹³ В. С. Иконников. Опыт русской историографии, т. II. кн. 2. Киев, 1908, стр. 1088—1136.

¹⁴ «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», Под ред. А. Н. Насонова. М.—Л., 1950, стр. 348.

¹⁵ М. Д. Приселков. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1950, стр. 366.

¹⁶ Там же, стр. 367.

¹⁷ «Книга Степенная царского родословия». — ПСРЛ, т. XXI, ч. 2, стр. 358.

¹⁸ М. Д. Приселков. Троицкая летопись, стр. 421—422.

¹⁹ В. Н. Лазарев. Новые памятники византийской живописи XIV века. I. Высоцкий чин. — «Византийский временник», т. IV, 1951.

²⁰ М. Д. Приселков. Троицкая летопись, стр. 448.

²¹ Новгородские летописи (так называемая Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879, стр. 243.

и расписывает с Симоном Черным церковь Рождества богородицы с приделом Лазаря ²². В 1399 г. он расписывает Архангельский собор Московского кремля ²³, а в 1405 г. вместе со старцем Прохором из Городца и Андреем Рублевым — Благовещенский собор там же ²⁴.

Таковы некоторые факты, свидетельствующие об интересе к византийской живописи на Руси, зарегистрированные данными письменных источников, крайне скудных для этого времени. Но, помимо них, имеются бесспорно установленные непосредственным анализом памятников факты византийского и южнославянского влияния. Связь русской живописи с «Палеологовским ренессансом» была настолько широкой, что значительно труднее найти памятник русской живописи второй половины XIV. — начала XV в., в котором эта связь не могла бы быть отмечена, чем наоборот. Особенно наглядно эта связь наблюдается в новгородско-псковской монументальной живописи XIV в. (фрески Снетогорского монастыря, Сквородского монастыря, церкви Спаса на Ильине, Рождества богородицы на Волотовом поле, Федора Стратилата на Ручье, Рождества богородицы на Красном поле и т. д.). «Палеологовский ренессанс» принимает в России русские формы и порождает в соединении с местными национальными традициями новые школы русской живописи ²⁵.

Чрезвычайно существенно, что помимо византийской живописи в русской живописи сказались и воздействия непосредственно южнославянские, в первую очередь сербские. Сербская живопись XIV в. была охвачена тем же «Палеологовским ренессансом», но в ней могут быть отмечены и силь-

²² М. Д. П р и с е л к о в. Троицкая летопись, стр. 445.

²³ Там же, стр. 450.

²⁴ Там же, стр. 459.

²⁵ Лучшие характеристики стилистических признаков русской живописи XIV в. и ее связей с «Палеологовским ренессансом» принадлежат В. Н. Лазареву («История византийской живописи», т. I. М., 1947, стр. 242 и сл.; «Искусство Новгорода». М.—Л., 1947, стр. 63 и сл.; «История русского искусства». Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева, т. II, М., 1954, стр. 138 и сл.), М. В. Алпатову («Всеобщая история искусств», т. III, М., 1955, стр. 146 и сл.), Б. В. Михайловскому (Б. В. М и х а й л о в с к и й и Б. И. П у р и ш е в. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в. М.—Л., 1941, стр. 22 и сл.), Н. Г. Порфирьеву («Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI—XV вв.». М.—Л., 1947, стр. 278 и сл.).

ные национальные и местные черты, некоторые из них бесспорно сказались на отдельных русских памятниках XIV в. Сербская школа живописи переживает во второй половине XIV в. пору своего расцвета²⁶. Она оказывает воздействие на Афон, на Болгарию.

В России сербское влияние с несомненностью установлено для Новгорода — в росписях церкви Спаса на Ковалева (1380 г.), ныне погибших²⁷. Росписи этой церкви поразительно близки фрескам сербской церкви Спасителя в Раванице (1381 г.). Эта близость устанавливается иконографически, стилистически и палеографически (на основании анализа почерка русских надписей, близкого сербскому полууставу). Основная заслуга в установлении этой близости принадлежит Д. В. Айналову²⁸ и Г. Милле²⁹. Последний отметил связь цикла «Страстей» церкви Спаса на Ковалева с памятниками македонского и сербского круга (росписи церкви Николая в Касторья, церкви Никиты близ Чурчера, церкви Ахилия в Арилье, церкви богоматери в Грачанице). Широкий круг соответствий ковалевских фресок с сербскими росписями констатирует и В. Н. Лазарев³⁰.

²⁶ В. Н. Лазарев. История византийской живописи, т. I, стр. 236 и сл.— О сербской живописи этой эпохи см. также: M. W a l t r o w i t s. *Ὁπρὸδρομος. Mitteilungen über neue Forschungen auf dem Gebiete serbischer Kirchenbaukunst.* Wien, 1878; G. M i l l e t. *L'art byzantin.*— В кн.: «Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, publiée sous la direction de André Michel», I. 1. Paris, 1903, p. 951—955; Н. О к у н е в. Сербские средневековые стенописи.— «Slavia», 1923; N. О к у н е в. *Monumenta artis serbicae, I—IV.* Zagrebiae—Pragae, 1928—1932; V. P e t k o v i ć. *Die Wiederentdeckung und Erforschung der mittelalterlichen serbischen Kunst.*—«Slavische Rundschau», 1929, S. 425—433; V. R. P e t k o v i ć. *La peinture serbe du Moyen Age, I—II.* Beograd, 1933—1934; M. К а ž а п и н. *Altserbische Fresken.* Wien und Leipzig, 1940 и др.

²⁷ Церковь Спаса на Ковалева разрушена в 1941 г. огнем фашистской артиллерии.

²⁸ Д. В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия. Пг., 1917.

²⁹ G. M i l l e t. *Recherches sur l'iconographie de l'évangile au XIV, XV et XVI siècles.* Paris, 1916.

³⁰ В. Н. Лазарев. О связях новгородской живописи с сербской.— «Ежегодник Института истории искусств АН СССР», т. I. М.—Л., 1947; е г о ж е. Искусство Новгорода, стр. 88—89; е г о ж е. История византийской живописи, т. I, стр. 246 и 383, прим. 155; е г о ж е. Живопись и скульптура Новгорода.—В кн.: «История русского искусства», т. II, стр. 201—206. Ср. также: Н. Г. П о р ф и р и д о в. Новые

Несколько менее ясные связи между монументальной живописью Сербии и росписями церкви Благовещения на Городище в Новгороде отмечает, вслед за Д. В. Айналовым³¹, и В. Н. Лазарев³².

Общая близость художественного стиля фресок Волотова (конец 70-х—начало 80-х годов XIV в.) к фрескам Раваницкой церкви была отмечена Д. В. Айналовым³³. Ее же отметил в иконографических типах Г. Милле³⁴. Впрочем, непосредственное влияние сербской живописи на живопись Волотова не может считаться достоверно установленным.

Усматривается «византийско-сербское» влияние и в иконописи, в частности в иконе Деисус из села Кривого конца XIV в.³⁵, и в иконе «Анна с девой Марией» (музей Троице-Сергиевой лавры)³⁶, связанной с сербскими особенностями культа богоматери в XIV в.

Необходимо отметить, что не все из того, что в свое время было высказано в научной литературе о русско-сербских связях в области живописи, может быть в настоящее время принято. Так, например, не может быть принята предполагаемая М. Н. Тихомировым, вслед за Н. П. Кондаковым, связующая роль Сербии между Италией и Русью в

открытия в области древней русской живописи в Новгороде (1918—1928). — «Сборник Новгородского общества любителей древности», IX, Новгород, 1928, стр. 5; А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937, стр. 158—159.

³¹ Д. В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 145—146.

³² В. Н. Лазарев. Искусство Новгорода, стр. 89—91; его же. История византийской живописи, т. I, стр. 246; его же. Живопись и скульптура Новгорода, стр. 206.

³³ Д. В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия, стр. 145—146.

³⁴ G. Millet. Recherches sur l'icônographie de l'évangile au XIV, XV et XVI siècles, стр. 549, 632 и др.

³⁵ А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство, стр. 225—226.

³⁶ Ю. А. Олсуфьев. Дополнение I к Описи икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Сергиев, Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, 1922, стр. 3 (первоначально в Описи А. И. Анисимов неверно трактовал эту икону как «Умиление»). Ср. также: «Искусство XIV и XV вв. Выставка при музее б. Троице-Сергиевой лавры». Сергиев, Комиссия по охране памятников искусства б. Троице-Сергиевой лавры, 1924, стр. 5, № 9. (Пользуюсь любезным указанием О. А. Белобровой.)

передаче на Русь итало-критских икон: ³⁷ концепция Г. Милле—Н. П. Кондакова—Н. П. Лихачева, крайне преувеличивавшая значение итало-критской школы и неправильно определявшая место Италии в «Палеологовском ренессансе», в данное время не имеет сторонников среди искусствоведов ³⁸. Влияние сербских зодчих на московскую архитектуру конца XIV—XV в. в. предполагалось, но не исследовано ³⁹. Нет, однако, сомнений, что считаться с возможностью этого влияния совершенно необходимо. Многозначителен, например, тот факт, что в 1404 г. серб Лазарь строит в московском Кремле часозвоню ⁴⁰. Заслужи-

³⁷ М. Н. Тихомиров. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в., стр. 179—180.

³⁸ Критику концепции Г. Милле — Н. П. Кондакова — Н. П. Лихачева см. в кн.: В. Н. Лазарев. История византийской живописи, т. 1, стр. 211—213, 252, 256—257. Ср. его же. «Maniera greca», итало-греческая и итало-критская живопись.—«Ежегодник Института истории искусств АН СССР», т. 1. См. также рецензию на эту работу В. Н. Лазарева: А. Банк.—«Византийский временник», т. VIII, 1956, стр. 374—377.

³⁹ А. И. Некрасов. Древнерусское зодчество XI—XVII века. М., 1936, стр. 198—199; Н. Н. Воронин. Каменное зодчество великокняжеской Москвы.— В кн.: «История русского искусства», т. III. М., 1955, стр. 69—70; «В отношении интереса к композиции храмового верха московская архитектура сближалась не только с псковской, но и с балканской архитектурой того времени, в особенности с сербской. В зодчестве Сербии XIV—XV веков применялись иногда и повышенные подпружные арки (хотя и несколько иного характера, чем в русской архитектуре), и закомары второго яруса в подножиях барабанов. Встречалось там и расположение средних и боковых закомар на разных уровнях, как это можно видеть в церкви в Грачанице (1321) и ряде построек конца XIV — начала XV века. Такие особенности, как форма подпружных арок собора Троице-Сергиевой лавры, находят близкие аналогии в арках соборной церкви Студеницкой лавры (1190) или церкви в Арилье (XIII век). Возможно, что эти черты сходства были результатом культурных связей этого времени между Русью и южнославянскими странами, но самый процесс переосмысления старой крестовокупольной схемы следует рассматривать как органически русское национальное явление, коренившееся еще в истории русского зодчества XII—XIII веков и получившее дальнейшее закономерное развитие в изучаемое нами время».

⁴⁰ См. в Троицкой летописи под 1404 г.: «Въ лѣто 6912, индикта 12, князь великій Василей Дмитреевичъ замысли часникъ и постави е на своемъ дворѣ за церковью за святымъ Благовѣщеньемъ. Сій же часникъ наречетъ часомѣрье; на всякій же часъ ударяетъ молотомъ въ колоколъ, размѣряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно и самодвижно, страннолѣпно нѣкако створено есть человѣческою хитростью, преизмечтано и преухищрено.

вает поэтому некоторого внимания и отмеченное в искусствоведческой литературе сходство собора Андроникова монастыря в Москве с сербскими церквями XIV в. ⁴¹.

Южнославянское влияние предполагалось также в формах новгородских каменных крестов XIV—XV вв. ⁴². Есть, наконец, предположение, что внешнее оформление

Мастерь же и художник сему бѣяше нѣкоторые чернецъ, иже отъ Святыя Горы пришедый, родомъ Сербинъ, именемъ Лазарь. Цѣна же сему бѣяше вѣщше полувтораста рублевъ» (М. Д. П р и с е л к о в. Троицкая летопись, стр. 457). М. Н. Тихомиров предполагает южнославянина в мастере Борисе, отлившем в Москве в 1346 г. три больших и два маленьких колокола по известию Симеоновской летописи (ПСРЛ, т. XVIII, стр. 95), но основания к этому весьма шатки.

⁴¹ Н. Б р у н о в. Русская архитектура X—XV вв.—«Сообщения Кабинета теории и истории архитектуры», вып. 1. М., 1940, стр. 6.— М. Н. Тихомиров обращает внимание на то обстоятельство, что это внешнее сходство может быть объяснено тем, что собор строился по повелению митрополита Алексея после его поездки в Константинополь, где он мог встречаться с сербами (М. Н. Т и х о м и р о в. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в., стр. 179). Надо, однако, отметить, что дата постройки собора не совпадает с временем поездки митрополита Алексея в Константинополь. Правда, А. Павлинов датировал собор 1360 годом (А. М. П а в л и н о в. История русской архитектуры. М., 1894, стр. 113). Вслед за А. Павлиновым датирует собор 1360 годом и Н. И. Брунов, от которого и позаимствовал М. Н. Тихомиров эту датировку (Н. Б р у н о в. Русская архитектура X—XV вв., стр. 5). Однако еще А. И. Некрасов («Города Московской губернии». М., 1928, стр. 17) более правильно датировал собор 1420—1427 гг. Бесспорные доказательства того, что собор построен между 1410 и 1427 г., приведены П. Н. Максимовым («Собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве». — В кн.: «Архитектурные памятники Москвы XV—XVII вв. Новые исследования». М., 1947, стр. 9). В «Истории русского искусства» (т. III. М., 1955, стр. 66—68) собор датируется «приблизительно 1427 годом» со ссылкой на П. Н. Максимова. Следует отметить, что и наиболее серьезный исследователь собора, П. Н. Максимов, отмечает аналогии собору в сербских церквях (особенно с церковью в Грачанице 1321 г.— см. в его работе, стр. 29). П. Н. Максимов пишет: «Нельзя ли объяснить его (собора.— Д. Л.) обособленное положение среди других русских храмов тем, что он мог в какой-то мере отразить южнославянские влияния, столь понятные в то время, когда завоевание Балканского полуострова турками вынудило эмигрировать на Русь ряд видных южнославянских церковных деятелей и когда такие представители их, как митрополит Киприан и Пахомий Логофет, своими трудами оказали сильное влияние на русскую письменность XIV—XV веков» (стр. 31).

⁴² И. А. Ш л я п к и н. Древние русские кресты. I. Кресты новгородские, до XV века, неподвижные и не церковной службы. СПб., 1906, стр. 33—34.— Аргументация И. А. Шляпкина, впрочем, не отличается убедительностью и основывается, главным образом, на общих впечатлениях.

московских печатей XIV в. со словами «всея Руси» в титуле московских великих князей ведет свое начало от оформления печатей Стефана Душана Сербского, на которых значатся слова: «о хрсте боге прведни цар Стефан все земли Спрс»⁴³.

Таковы некоторые факты, в большей или меньшей степени свидетельствующие о том, что второе южнославянское и византийское влияние в России не ограничивалось письменностью. Однако, само собой разумеется, перечисленных фактов крайне недостаточно, чтобы представить себе южнославянское влияние в его полном объеме. Решение вопроса об объеме южнославянского влияния в России, о его соотношении с византийским будет зависеть от того, насколько интенсивно будут проводиться в этой области частные конкретные исследования.

Чрезвычайно существен для выяснения причин второго южнославянского влияния в России самый факт обратного, русского, влияния в южнославянских странах. Впервые на русское влияние в южнославянских странах обратил внимание академик М. Н. Сперанский в работе «Деление русской литературы на периоды и влияние русской литературы на югославянскую» (Варшава, 1896)⁴⁴. Впоследствии он же более обстоятельно разработал эту тему в ряде частных и общих исследований⁴⁵.

Кроме М. Н. Сперанского, которому принадлежит честь наиболее обстоятельной разработки вопроса о русском влиянии в южнославянской письменности, этим же вопросом

⁴³ См. подробнее: А. В. Соловьев. Два прилога к роучавану Душанове државе.—«Гласник Скопльскогo Научногo Друштва», кн. II, свеска 1—2. Скопье, 1927, стр. 43. Ср. также М. Н. Тихомиров. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в., стр. 176—177.

⁴⁴ Отдельный оттиск «Русского филологического вестника», т. XXXVI, № 3—4.

⁴⁵ М. Н. Сперанский. Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы?—«Slavia», 1928, т. VI, вып. 3; его же. Югославянские и русские тексты «Сказания о построении храма Софии цареградской».—«Сборник в чест на В. Н. Златарски». София, 1925; его же. К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур (Русские памятники письменности на юге славянства).—«Известия ОРЯС РАН», т. XXVI, 1921(1923); его же. Русские памятники письменности в югославянских литературах XIV—XVI вв. Рукопись. Москва, ВГАЛИ, ф. 439, оп. 1, № 73, 1938 г., и др.

занимался А. И. Соболевский, а в последнее время — Бою Ст. Ангелов⁴⁶.

Следует отметить, что вопрос о русском влиянии в Болгарии и Сербии отмечен только для памятников письменности. В области искусства это влияние не отмечено, несмотря на попытки, которые в этом направлении делались⁴⁷. С другой стороны, и в области письменности русское влияние на южнославянскую письменность представлено сравнительно небольшим числом фактов. Причины здесь ясны: это влияние было меньше, чем влияние южнославянской письменности на русскую; скудость фактов объясняется и тем, что болгарское и сербское письменное наследие (так же, как и наследие в области искусства) сохранилось несравненно хуже, чем русское.

Мы знаем те центры, которые служили культурному общению славян и греков в XIV—XV вв. Это, прежде всего, Афон и Константинополь. Нет смысла перечислять факты этого общения: они неоднократно суммировались в исследовательской литературе⁴⁸. Однако, кроме Афона и Константинополя, где происходило общение между собой русских, болгар, сербов, греков и т. д., специально для XIV в. должны быть особо отмечены монастыри Болгарии⁴⁹.

Болгария в XIV в. в целом была тем огромным центром, через который проходило византийское влияние в Сербию и Россию, центром, в котором это византийское влияние получало свою славянскую окраску, закреплялось в мно-

⁴⁶ «Из историята на руското книжовно проникване у нас (XI—XIV век.)». — «Известия на Института за българска литература». Книга трета. София, 1955.

⁴⁷ Материалы, отмеченные для этой эпохи в книге Н. Мавродинова «Връзките между българското и руското изкуство» (София, 1955), слишком скудны, чтобы можно было говорить о русском влиянии на болгарское искусство XIV—XV вв.

⁴⁸ Литературу вопроса см. в кн.: В. С. И к о н н и к о в. Опыт русской историографии, т. II, кн. 2, стр. 1091, сноска 3. — Некоторые данные о святогорцах в России можно найти в кн.: П. М. С т р о е в. Библиологический словарь и черновые материалы к нему. СПб., 1882, стр. 46, 119, 121—122 и др., а также в трудах И. И. Срезневского, Макария, Филарета и др.

⁴⁹ Особенно следует отметить в этом отношении Парорийский монастырь, откуда учение исихастов усиленно распространялось и на Болгарию, и на Сербию (П. С ы р к у. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV—XVII веках. СПб., 1901, стр. LXXIII и др.).

гочисленных переводах, освященных реформой письменности патриарха Евфимия.

Изучение русского влияния на южных славян чрезвычайно важно для определения сущности того культурного обмена, который совершался в XIV—XV вв. между Византией и славянскими странами. Особенно важно определить, существовало ли обратное влияние — русского искусства на южнославянское. Если это обратное влияние русской литературы и русского искусства на южнославянскую литературу и искусство совершалось в более или менее значительных размерах, то перед нами взаимообщение, культурный обмен, и причину его нельзя видеть в преимуществах одной литературы над другой, одного искусства над другим.

Обратим внимание на следующее: если влияния и взаимовлияния осуществлялись широким фронтом в самых различных областях культуры (как мы это уже видели), то, значит, перед нами явления единого умственного движения, достаточно мощного, чтобы охватить разные страны, и достаточно глубокого, чтобы сказаться одновременно в литературе, письменности в целом, живописи и религии.

Отсюда возникает особая задача изучения этого взаимовлияния: необходимо не только выявить факты этого взаимовлияния, но и изучить идейную сущность того умственного движения, которое за этими фактами, очевидно, скрывается.

2. ХАРАКТЕР НОВОГО СТИЛЯ, ПОЯВИВШЕГОСЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ С КОНЦА XIV В.

Для определения сущности второго южнославянского влияния в России большое значение имело бы выяснение философского смысла проникшей на Русь Евфимиевской книжной реформы — реформы принципов перевода с греческого, реформы литературного языка, правописания и графики.

К сожалению, мы не имеем теоретических сочинений XIV—XV вв. об этой реформе. О смысле ее мы можем только догадываться. Между тем несомненно, что реформа эта имела очень большое значение в культурной жизни южно- и восточнославянских стран и была, по-видимому, одним из проявлений умственных движений XIV в. Она распростра-

нилась с очень большой быстротой, свидетельствуя тем самым о том, что отвечала неким внутренним в ней потребностям, имела для своих современников какой-то важный смысл. Она возбудила усиленную переводческую деятельность, поскольку старые переводы стали считаться неточными. Неудовлетворенность старыми рукописями заставляла интенсивно заниматься их исправлениями, их перепиской с соблюдением новых правил, понуждала ввозить в Россию новые, реформированные рукописи. Перед нами очень крупное явление умственной жизни, смысл которого до сих пор остается неясным.

Судить о смысле реформы патриарха Евфимия мы можем только отчасти, по единственному сочинению ученика его ученика, Константина Философа Костенческого. Сочинение это отнюдь не теоретическое, а скорее практическое, но в нем содержались и некоторые общие высказывания. Произведение Константина было в свое время издано академиком И. В. Ягичем в его обширном издании «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке» (СПб., 1896). Издание сопровождается введением, в котором И. В. Ягич излагает и характеризует взгляды Константина, и последующим «Обозрением сочинения» с пересказом его содержания. К сожалению, характеристика, которую дает И. В. Ягич сочинению Константина, не раскрывает самую систему его взглядов, теснейшим образом связанную с мировоззрением того времени и взглядами исихастов, оказавшими значительное влияние на Евфимия Тырновского, а через него — и на Константина Костенческого⁵⁰. Не удивительно, что рассмотрение содержания сочинения Константина вне исторической перспективы привело И. В. Ягича к отрицательной оценке его сочинений и его взглядов.

Так, например, отмечая то огромное значение, которое придавал Константин греческому языку и греческому правописанию, И. В. Ягич объяснял это причинами чисто случайными: «Он сам был по воспитанию и образованию скорее грек, чем славянин; его уступчивость авторитету греков

⁵⁰ Наиболее полное и объективное изложение содержания сочинения Константина Костенческого содержится в книге В. Сл. Киселкова «Проуки и очерти по старобългарска литература» (София, 1956, стр. 266—303), но и здесь в задачу исследователя не входило установление связи взглядов Константина с общими воззрениями эпохи на язык.

не знала пределов, он смотрел на них как на естественных посредников между евреями и славянами в отношении церковно-христианской письменности... Поэтому первым и главным правилом для Константина существовало—безусловное подражание всему греческому... Эта зависимость от греков доходила у Константина до того, что он даже принятому порядку букв славянского алфавита не сочувствовал, считая более разумным познакомить мальчика с 24 буквами алфавита греческого...»⁵¹.

И. В. Ягич так отзывается о сочинении Константина: «Сочинение написано языком удивительно тяжелым и по отношению к формам неправильным, обличающим рабскую зависимость от оборотов греческих, как это нередко встречается у писателей ученых, приобретших свое образование в чужой среде, привыкших мыслить и выражаться на чужом языке. Так и Константин был духом и образованием, образом мыслей и способом выражения скорее грек, чем болгарин или серб. Странное впечатление производят эти недостатки у писателя, затевавшего как раз исправление книг по отношению к языку. Поневоле возникает сомнение о его пригодности для такого предприятия: спрашивается, каковым могло выйти это исправление у человека, не умевшего выражать свои мысли просто и отчетливо и на понятном языке?»⁵².

Между тем объяснять то предпочтение, которое отдавал Константин греческому языку, только его личным воспитанием, образованием и склонностями — значило бы не замечать той огромной роли, которую греческий язык и греческая письменность вообще сыграли в умственном славянском движении XIV и XV вв.⁵³ В самом деле, особенности греческой графики сказываются в русской письменности;

⁵¹ И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке, стр. 84—85.

⁵² Там же, стр. 81.

⁵³ П. Сырку пишет: «Греческие редакции церковных книг и даже греческая грамматическая дисциплина считались образцом для славянской» (П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. I. СПб., 1898, стр. 247). Примеры подражания Евфимия Тырновского греческим синтаксическим конструкциям и отдельным оборотам речи см. в кн.: К. Радченко. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, стр. 293 и сл.

кальки с греческого и греческие слова широко проникают в русский литературный язык; во многих случаях, как известно, в русских сочинениях XV—XVI вв. наблюдается следование греческим грамматическим конструкциям. Ясно, что явление это отнюдь не случайное и что личные вкусы Константина Костенческого должны найти себе объяснение в воззрениях на язык, свойственных целому кругу представителей нового направления в письменности.

В учении Константина Костенческого наше внимание прежде всего привлекает то обостренное до фанатизма внимание, которое он уделяет значению каждого внешнего, формального явления языка и письма. Константин Костенческий исходит из убеждения, что каждая особенность графики, каждая особенность написания, произношения слова имеет свой смысл. Слово и сущность для него неразрывны. Отсюда его чрезвычайное беспокойство о каждом случае расхождения между ними, которое может получиться от неправильного написания, от неправильной формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во всяком случае, к неправильным воззрениям. Отсюда главной задачей науки он считает создание правильного языка, правильной орфографии, правильного письма.

Он стремится уничтожить возможные неправильности в языке, орфографии и письме, пытается многочисленными примерами продемонстрировать теснейшую связь внешней формы слова и его значения, показать смысл каждой мельчайшей особенности орфографии и графики. Ереси происходят, по его мнению, от недостатков или излишеств в письме: «откуда прозебленіе ересем точію от улишеніа божественаго писаніа, или паки излишіа, си рѣч приложеніа» (Конст К., 107—108).⁵⁴ Его крайне беспокоят все разногласия между списками, и он призывает казнь божию на тех, кто делает описки в рукописях, или, даже только зная об описках, не «обличает» их (Конст К., 108). Он исходит из положения, что каждая буква в слове имеет свое значение и способна изменить смысл речи. При этом он пытается видеть особый, внутренний смысл даже в буквах самих по себе, приписывает каждой из них свою индивидуальную роль. Он требует, например, соблюдать в письме строгое

⁵⁴ Список сокращений см. в конце доклада.

различие между *ѣ* и *е*, хотя отличия этих букв в произношении не ясны для него самого, и говорит о «естестве» букв. Буква *ѣ* для него «совершительная», и она препятствует слиянию слов. Он обращает внимание на то, что *ы*, *ѣ* и *ь* никогда не начинают собою слов, и видит в этом признак их особого существа (КонстК., 113—115). Существенные смысловые различия видит Константин между *ѣ* и *т* (КонстК., 116), устанавливает различия, присущие *у* и «*и*» (например, в словах *мѹрный* и *мирны*, стр. 124 и сл.), устанавливает пять начертаний буквы *о* и т. д. Большое внимание уделяет он надстрочным знакам, каждый из которых подробно анализируется им в своем «естестве» («оксие», «даси», «вариа», «апостроф», «зернца», «периспомени» и т. д.). Он не просто «формалист», ибо за формой видит существо.

Его чрезвычайно озабочивает реальное различие отдельных языков. Он понимает, что различия эти в корне подрывают его систему, и он стремится объяснить их, устанавливая своеобразные антропоморфические отношения языков: языки находятся в родственной зависимости друг от друга и, следовательно, должны в какой-то мере подчиняться своим родителям. Еврейские «письмена и глаголы» — отцовские, греческие — материнские, славянские — дети: «Свѣдѣтеля привожу ти матерь твою грѣчьскыя глаголы и писмена, ею же яко сѣме от отца еврейскых писмень и глаголь прорасте. И подобает ти въ сих нравъ сих и подобіе дрѣжати по въсему естество родителей, аще ли же ни, то ни любодѣчища писмена наша достигуть, ибо не тъкмо отца не вѣдет и отвращаются, нь и рождѣшую их матерь» (КонстК., 125). Отсюда необходимость стремиться во всем следовать греческому языку и греческим письменам: нам «подобаетъ вящшій страх и вѣнтіе о писаних паче ли грѣкъ бисеръ божій съдрѣжати. Не бо мы нашим кораблем пучину шѣствовахом и възехом его (бисер божій.—Д. Л.) от еурей, нь сих (греков.—Д. Л.) кораблем прѣнесень даже и до нас дойде. Мы же яко корабльцем малѣм приобрѣтенными писмены въ пристанище срѣтше възехом» (КонстК., 122).

Надо иметь в виду, что антропоморфические отношения между языками — существенная сторона мировоззрения Константина. Он сравнивает с людьми не только языки, но и буквы. Согласные — это мужчины, гласные — женщины; первые господствуют, вторые подчиняются. Надстрочные знаки — головные уборы женщин; их неприлично но-

сить мужчинам. Свои головные уборы женщины могут снимать дома в присутствии мужчин: так и гласные могут не иметь надстрочных знаков, если эти гласные сопровождаются согласными (КонстК., 134).

Соответствие слова и сущности и исходящее отсюда требование абсолютной точности внешней формы слова касалось в представлениях Константина отнюдь не всех языков, а только тех, которые мы могли бы назвать церковными или «священными». Оно касалось языка науки или, что то же в представлениях того времени, языка церкви, священного писания и богослужения. Этот язык, по понятиям средневековья, не мог смешиваться с обыденным, он должен был быть возвышенным, духовным. Литература светская (летописные записи, описания путешествий и т. д.) пользовалась особым литературным языком, близким к языку деловой письменности, но в котором также могла быть своя «литературность», не похожая на литературность церковного языка — языка «церковнославянского».

Система Константина Костенческого вводила возвышенный и отнюдь не бытовой церковнославянский язык в семью немногих священных языков. Она устанавливала связь церковнославянского языка с «материнским» греческим языком, подчеркивала эту связь в начертаниях букв, в системе надстрочных и строчных знаков, в расположении алфавита и т. д. Для Константина Костенческого это не мелочи, не капризы вкуса и не просто следствие его греческого образования, как думал И. В. Ягич, а существенные элементы мировоззрения.

Малейшая неточность в письме, орфографическая неустойчивость в «священном» церковном языке были, с его точки зрения, способны породить ересь; по существу, они были уже сами по себе ересью, ибо между языком и письменностью, с одной стороны, и явлениями мира, с другой, существовала, по мнению Константина, органическая связь. «Лучше бо есть съ вѣсѣмь листь погрѣшити, — говорит Константин, — неже въ писменех едину хулу съставити: погрѣшеніе бо улишеніе есть божественные пшенице, хула же въ писменех врагъ божіи есть» (КонстК., 102). Константин сравнивает письмена с головой змеи и говорит, что подобно тому, как змея прячет свою голову, подставляя для ударов тело (если голова ее будет цела, то и тело исцелится), так и мы должны сохранять правильность письмен, ибо

«и въ всякой книжевской вещи глава есть писмена и състоаніе правое» (КонстК., 96) ⁵⁵.

Отсюда стремление Константина Костенческого к буквализму переводов, к полной унификации языка и письма, его многочисленные попытки орфографического разделения значений слов, близких в звуковом отношении.

Требование абсолютной точности (орфографической, языковой и пр.) в передаче текстов священного писания объясняется и общим недоверием Константина к человеческому разуму. С точки зрения Константина, лишь священное писание способно раскрывать истину, поэтому оно именно должно передаваться со всевозможной точностью: «Прѣмудрость мира — безуміе богу. Аще бо и тѣмами любомудрїемъ украсимсе, бес страха же божественных повелѣніи, еда не уподобимсе еллином; иже пучину морскую потѣщавшіих се грѣстїю измѣрити, или кромѣ корабля прѣплутти, им же даже и въ ідолопоклоненіе съведошесе, подвизанїемъ тварей. Тѣм же прѣмудрый о нь от бога прѣмудрость просить, а не собою утверждае т с е» (КонстК., 107).

Я уже говорил о том, что Константин Костенческий не был оригинален в своих воззрениях. Он был учеником ученика патриарха Евфимия Тырновского, а этот последний примыкал к исихастам ⁵⁶.

Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем — самого бога. Поэтому слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов так же священно, как и само явление. Это учение о языке и слове было распространено Евфимием и его учениками на всю письменность. Константин Костенческий называет писмена «божественными» (КонстК., 106 и др.), Они предназначены для божественных истин. Учение исихастов о слове, молчании, божественном свете и имени божьем имело, как извест-

⁵⁵ Иное объяснение идеализации греческого языка у Константина Костенческого и Евфимия Тырновского дает проф. П. Динеков («Стара българска литература». Втора част. София, 1953, стр. 57). С точки зрения П. Динекова, все дело во взаимоотношениях церковноиерархических. Греческий язык — язык царьградской патриархии, претендовавшей на господство в православной церкви.

⁵⁶ См. П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. I. СПб., 1899.— Евфимий был близким учеником исихаста Феодосия Тырновского.

но, неоплатонические корни⁵⁷. По Проклу, имя — энергия сущности, отождествляющая факт и смысл и его выражение. «Неизрекаемое молчание» — исходное начало диалектики слова.

На системе Константина лежит тот же отпечаток «аристократизма», что и на всем стиле панегирической литературы XIV в.: это письменность для избранных, для небольшого числа ученых, и это литература для искушенных в чтении божественного писания. Евфимиевские правила отделяли церковную письменность от деловой точно так же, как стилистические приемы панегирической литературы возвышали ее над обыденной речью. Противопоставляя исправные книги «растленным», Константин утверждал, что первые предназначены для знатоков письменности, а вторые — для невежд. Знатоки будут чувствовать себя стесненными в неисправно написанных книгах, а невежды — в исправных: «того бо ради невѣжде свободнѣиши суть въ растлѣнных писаніох, паче ли въ первых... такожде паки вѣжде нѣ суть свободь въ развращенных» (Конст К., 123).

Проникший в Россию в XIV в. южнославянский витийственный стиль был тесно связан с теми же воззрениями на язык, которые лежали в основе Евфимиевских реформ.

Слово, по этому учению, было сущностью явлений. Назвать вещи — значило понять их. С этой точки зрения языку (языку церковных писаний) отводилась первенствующая роль в познании мира. Познать явление — значит, выразить его словом, назвать. Отсюда нетерпимое отношение ко всякого рода ошибкам, разноречиям списков, искажениям в переводах и т. д. Отсюда же чрезвычайная привязанность к буквализму переводов, к цитатам из священного писания, к традиционным формулам, стремление к тому, чтобы словесное выражение вызывало такое же точно настроение, чувство, как и самое явление, стремление создавать из письменного произведения своеобразную икону, произведение для поклонения, превращать литературное произведение в молитвенный текст.

⁵⁷ О связи философии исихастов с философией Платона и неоплатоников см. в кн.: П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. 1, стр. 236—238 и стр. 187, прим. 1. Ср. К. Радченко. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, стр. 123—126.

«Плетение словес» основано на внимательнейшем отношении к слову: к его звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т. п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологически одинаковые окончания и т. п.), к тонкостям его семантики (сочетания синонимические, тавтологические и пр.), на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого и пр. Кальки с греческого образуются из тех же побуждений, которые заставляли переводчиков буквально следовать греческим конструкциям (см. выше). Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов и т. д. исходили из тех же представлений о тождестве слова и сущности, божественного писания и божественной благодати, что лежали и в основе реформы. Напряженные поиски эмоциональной выразительности, стремление к экспрессии основывались на том же убеждении, что житие святого должно отразить частицу его сущности, быть написанием «подобными» словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда бесконечные сомнения авторов и полные нескрываемой тревоги искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной передачи сущности изображаемого.

Связь реформы письменности — стремления к точности и буквализму переводов с греческого, стремления разграничить значение слов, придать каждому новому значению свою особую орфографическую форму — и нового, характерного для XIV—XV вв. стиля «плетения словес», несомненна. Задача будущих исследователей самым тщательным образом изучить и эту связь, и лежащие в ее основе общие представления о слове, о языке, о письменности, определить те философские воззрения, которые могут быть обнаружены в основе реформы письменности патриарха Евфимия пока еще в самой общей форме.

Что же представлял собой тот своеобразный новый стиль в литературе, который появляется в России с конца XIV в.? Обратимся прежде всего к его русской разновидности, так как именно русская разновидность этого стиля, как мы увидим в дальнейшем, оказалась наиболее последовательной в проведении новых художественных принципов, зародившихся у южных славян и в Византии в XIV в.

Имеющиеся в научной литературе характеристики стиля, пришедшего в Россию в конце XIV—XV вв. вместе со вторым южнославянским влиянием, не отличаются опре-

деленностью. Наиболее популярные из них говорят об «искусственных литературных приемах»⁵⁸, об «искусственности, напыщенности и витиеватости» этого стиля⁵⁹, о том, что «речь становится до невозможности вычурна, расплывчата, полна словесных ухищрений»⁶⁰, характеризуют его как «торжественно-риторический стиль»⁶¹, как стиль «риторически-многословных и витиеватых панегириков»⁶² и т. д. Все это в той или иной мере правильно, однако пышность, искусственность, вычурность, витиеватость, торжественность могут быть различной стилистической природы, преследовать различные цели, соответствовать разным художественным методам.

Наиболее оригинальная характеристика стиля времени второго южнославянского влияния дается в десятитомной «Истории русской литературы»⁶³, но и она слишком кратка, чтобы быть сколько-нибудь исчерпывающей.

Существенно важны исследования стиля отдельных южнославянских писателей XIV — XV вв. Среди этих исследований наибольший интерес представляет весьма богатая собранным материалом книга Цветаны Вранской «Стилни похвати на патриарх Евтимий» (София, Държавна печатница, 1942). Однако стилистический анализ, сводящийся к изолированному от содержания памятника описанию отдельных выразительных средств, обычных для любого литературного произведения (повторения, сравнения, антитезы, эпитеты, метафоры и т. д.), в их опять-таки обычных и наиболее общих художественных функциях (усиление изобразительности, картинности, эмоциональности и пр.) не в состоянии выделить индивидуальных особенностей стиля. Не случайно, что и Ц. Вранска постоянно

⁵⁸ В. О. К л ю ч е в с к и й. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, стр. 79.

⁵⁹ Е. П е т у х о в. Русская литература. Древний период. Пг., 1916, стр. 114.

⁶⁰ М. Н. С п е р а н с к и й. История древней русской литературы. Московский период, изд. 3. М., 1921, стр. 101.

⁶¹ «История русской литературы», под ред. В. А. Десницкого, т. I, ч. 1. М., 1941, стр. 129.

⁶² Н. К. Г у д з и й. История древней русской литературы, изд. 3. М., 1945, стр. 225 (в последующих изданиях учебника Н. К. Гудзия характеристика второго южнославянского влияния отсутствует).

⁶³ «История русской литературы», изд. Института литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, т. II, ч. 1. М.—Л., 1945, стр. 173—174.

подчеркивает связь стиля Евфимия Тырновского со стилем предшествующих ему болгарских писателей.

Некоторые, впрочем очень робкие, попытки объяснить новый стиль историческими условиями, также не могут считаться удовлетворительными. В ряде общих работ по древнерусской литературе последнего времени отмечалось, что пышность югославянского стиля объясняется чувством торжества и приподнятости, якобы охватившими южнославянских писателей в связи с возвышением Болгарии и Сербии в XIV в., а русских — в связи с успехами Москвы⁶⁴. Однако XIV и XV века знали столько же возвышений и расцветов славянских государств, сколько и падений, столько же национальных торжеств, сколько и национальных трагедий, главенство же Москвы недостаточно ясно определилось еще для современников в конце XIV — начале XV в., да и самое распространение этого стиля происходило не только в Москве, но и в соперничавших с ней центрах — особенно в Твери и Новгороде. Чувство же, каким бы сильным оно ни было, само по себе, без связи с мировоззрением, не может еще определить собою всех особенностей стиля, тем более, что и самая торжественность стиля времени второго южнославянского влияния весьма сомнительна. Как мы увидим ниже, этот стиль слишком динамичен, слишком насыщен лирическими авторскими отступлениями, выражениями авторской неудовлетворенности, чтобы быть торжественным и предназначаться для прославления государства.

Ясно, что стиль, столь характерный в России для эпохи второго южнославянского влияния, требует как своей более точной характеристики, так и своего более точного объяснения. Как увидим ниже, определение сущности стиля второго южнославянского влияния в России поможет объяснить и самые явления этого влияния.

Литература средневековья и, в частности, русского средневековья в жанрово-стилистическом отношении имеет несколько сфер, отчасти взаимопроникающих друг друга, оказывающих друг на друга заметное влияние, но тем не менее постоянно стремящихся к взаимообособлению. В литературе русского средневековья это литература высокого,

⁶⁴ «История русской литературы», под ред. В. А. Десницкого, т. I, ч. 1, стр. 127.

церковнославянского стиля (жития святых, церковно-па-негирическая литература, литература «слов» и поучений и т. д.), литература среднего стиля (жанры, близкие деловой письменности или обладающие, наряду с литературными, и чисто деловыми функциями: летописи, исторические пове-сти, описания путешествий и паломничеств, составляющие-ся в основном на языке, близком к языку деловой пись-менности) и литература низкого стиля (пока известная в сравнительно поздних сатирических произведениях, авто-ры которых пользуются по преимуществу разговорным языком или пародируют язык других жанров)⁶⁵. Впослед-ствии, в XVIII в., это жанрово-стилистическое деление ли-тературы приобретает несколько особые черты, отраженные в учении Ломоносова о трех стилях.

Прежде чем обратиться к анализу стиля, характерного для времени второго южнославянского влияния, отметим, что стиль второго южнославянского влияния отразился только в «высокой» литературе средневековья, в литературе церковной по преимуществу. Вместе с тем следует обра-тить внимание на одну чрезвычайно важную особенность, пронизывающую все формы высокого, церковного стиля средневековья, которую своеобразно развивал новый стиль: основное, к чему стремятся авторы произведений высокого стиля,— это найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, «невещественное» в вещественном; христианские истины во всех явлениях жизни. Стилисти-ческий принцип, следовательно, тот же, что и нравст-венный: «въ веществънѣ телеси носити невещественное» (ЖГрСин., 5). Принцип этот диаметрально противоположен тому, который выдвигается искусством нового времени,—той «жажде конкретности», которую Карлейль считал вечной основой искусства и которая на самом деле относится по преимуществу к искусству XIX—XX вв. В средние века мы, напротив, можем отметить жажду отвлеченности, стре-мление к абстрагированию мира, к разрушению его кон-кретности и материальности, к поискам символических богословских соотношений, и только в формах письменно-сти, не осознававшихся как высокие,— спокойную кон-кретность и историчность повествования.

⁶⁵ Обоснование этого деления я предполагаю изложить в другой своей работе.

Язык высокой, церковной литературы средневековья обособлен от бытовой речи, и это далеко не случайно. Это — основное условие стиля «высокой» литературы. «Иной» язык литературы должен был быть языком приподнятым и, в известной мере, абстрактным. Привычные ассоциации высокого литературного языка средневековья характерны тем, что они отделены от обыденной речи, возвышены над нею и оторваны от конкретного быта и бытовой речи. Чем больше разрыв между литературной речью и речью бытовой, тем больше литература удовлетворяет задачам абстрагирования мира. Отсюда проходящее через все средневековые стремление сделать язык высокой литературы языком «священным», неприкосновенным быту, не всем доступным, ученым, с усложненной орфографией. Из высоких литературных произведений по возможности изгоняется бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны, некоторые исторические припоминания и т. д. Если приходится говорить о конкретных политических явлениях, то писатель предпочитает называть их, не прибегая к политической терминологии своего времени, а в общей форме, предпочитает выражаться о них описательно, давать названия должностей в их греческом наименовании, прибегает к перифразам и т. д.: в м. «посадник» — «вельможа некий», «старейшина», «властелин граду тому» (ЖБиГ., 17); в м. «князь» — «властитель той земли», «стратиг» и т. д. Изгоняются собственные имена, если действующее лицо эпизодично: «человек един», «мужь некто» (ЖБиГ., 50), «нѣкая жена» (ЖБиГ., 58), «нѣкая дѣва» (ЖАврСм., 3), «нѣкде въ градѣ» (ЖБиГ., 59). Эти прибавления «некий», «некая», «един» служат изъятию явления из окружающей бытовой обстановки, из конкретного исторического окружения. Это вознесение действующих лиц над конкретной исторической обстановкой может совершаться и другими путями. Вот, например, характерное описание родителей Авраамия Смоленского: «Бѣ же сей блаженный Авраамей отъ вѣрну родителю рождся, бѣста и та въ законѣ Господни добрѣ живуща благочестно. Бѣ же отець его всѣми чтѣмъ и любимъ, отъ князя честь приемля, бѣ бо воистинну отъ всѣхъ опознанъ, яко и правдою украшенъ и многымъ въ бѣдахъ помагая, милостивъ и тихъ къ всѣмъ, къ молитвѣ и ко церквамъ прилежа. Такоже и мати его всѣмъ благочестіемъ

украшена» (ЖАврСм., 2). В этом описании не названы имена родителей святого, ни должность, которую занимал его отец, а добродетели, их «украшавшие», перечислены в самой общей форме.

Вводя по необходимости просторечные слова, писатель вынужден тут же рядом приводить их греческий эквивалент или оговаривать их просторечность: «единъ звѣрь, рекомый аркуда, еже сказается медвѣдь» (ЖСерг., 55), «и дровы на всѣх, яко же речеся, сѣчаше» (ЖСерг., 64). Феодосий Тырновский имел «недугъ люто зѣло того удручавающъ, по словенскихъ слогнехъ глаголемый кашлица» (ЖФеод., 35). Боязнь «худых» и «грубых» слов (ЖСтПерм., 102), слов «ззорных», «неухищренных», «неустроенных», «неудобренных» (ЖСтПерм., 111) обусловлена стремлением поднять события жизни святого над обыденностью, рассматривать их под знаком вечности. Тому же абстрагированию служит обычная манера говорить об известном, как о чем-то неизвестном, будет ли это обычай, имя исторического лица, название города и т. д.: «якоже обычай есть христіаномъ, имя дѣтищу нареши» (ЖАврСм., 3); «славнѣйшій град Бдинь, иже къ Істру лежащій» (ЖРом., 3); «бысть бо, рече, князь въ тыи годы, володый всею землею Рускою, именовъ Владимиръ. Бѣ же мужъ правдивъ и милостивъ к нищимъ и к сиротамъ и ко вдовичамъ, елинъ же вѣрою. Сему богъ спону нѣкакѹ створи быти ему христьяну, яко же древле Плакидѣ. . .» (речь идет о Владимире Святом; ЖБиГ., 4); князь «именомъ Ярославъ» (речь идет о Ярославе Мудром; ЖБиГ., 14), и т. д.

Абстрагирование поддерживается постоянными аналогиями из священного писания, которыми сопровождается изложение событий жизни святого. Эти аналогии заставляют рассматривать всю жизнь святого под знаком вечности, видеть во всем только самое общее, искать во всем настоятельный смысл.

Для «высокого» стиля XIV—XV вв. характерны трафаретные сочетания, привычный «этикет» выражений, повторяемость образов, сравнений, эпитетов, метафор и т. д. Если «в основе поэтической лексики» нового времени «лежит подновление словесных ассоциаций»⁶⁶, то в основе поэ-

⁶⁶ Б. В. Томашевский. Теория литературы. Поэтика, Л., 1927, стр. 14.

тической лексики средневековья лежат, напротив, именно привычные словесные ассоциации, но привычные не сами по себе, а в известной «высокой» ситуации — богослужебной или учено-богословской.

Условно-литературная привычность, повторяемость делает отвлеченными художественные образы и художественные понятия, тогда как необычность художественного образа, словосочетания обостряет читательское внимание к ним и конкретизирует их, делает их наглядными, материально-конкретными, подчеркивает их единичность. Формальная школа в литературоведении, как известно, обращала внимание только на второй «прием» в литературе, видя в нем вечную сущность искусства, обостряющего и обновляющего видение мира. Между тем этот «прием» в известной мере может быть отмечен лишь в конкретизирующем искусстве нового времени. Искусство же средневековья в своих церковных жанрах стремится разрушить конкретность явлений, характеризуется стремлением к отвлеченному изложению, к художественной абстракции.

Литературно-шаблонные выражения и образы служат одним из существенных элементов «высокого» литературного стиля. Литературный язык средневековья полон условно-приподнятых трафаретов, тесно связанных с теми, которые привычны читателю по языку богослужебному, языку священного писания и сочинений отцов церкви. Эти условно-приподнятые трафареты, закрепленные неподвижным, не подлежащим изменению «основным фондом» чисто церковной литературы, переходят из произведения в произведение. Заимствования и компиляции, стремление избегать индивидуальных особенностей стиля составляют характерную черту литературы церковных жанров. В «Слове похвальном Петру и Павлу» иерусалимского пресвитера Исихия следующим образом обосновывается необходимость пользоваться другими произведениями для создания своего собственного: «Добро у бо цвѣтовъ пролѣтныхъ часомъ к себѣ приносящим обѣуховати, но аще ко крину преплетутся, в лѣпоту благоуханнѣши бывають, миро бо с миром смѣшаася сугубо еще отсюду благоухания наслаждения бывають» (ПСерб., 277). Работа писателя сравнивается, следовательно, с составлением букета цветов — цветов из других произведений. Чем авторитетнее круг произведений, из которых собираются писателем «цветы» его стиля, тем сильнее

они настраивают читателя на благочестивый лад своею привычною приподнятостью, тем легче вызывают они благоговение и сознание высоты описываемого. Отсюда обилие цитат из священного писания, особенно из псалтыри, стилистическая роль которых в «высокой» литературе средневековья огромна и своеобразна.

Традиционность сравнений, аналогий, эпитетов, метафор и т. д. имеет и еще одно основание: традиционность их зависит от традиционности тех богословских представлений, которые лежат в их основе. Художественные тропы стремятся не к облегчению конкретно-ощутимого восприятия читателем описываемого, а к указанию на внутреннюю, религиозную сущность явлений, сущность, уже раскрытую богословием, а в литературе лишь вновь и вновь напоминаемую⁶⁷.

До сих пор я в самой общей форме говорил о явлении, более или менее свойственном всей церковной литературе русского средневековья. Однако стиль русской церковной литературы времени второго южнославянского влияния вносит в эту абстрагирующую тенденцию чрезвычайно сильную и характерную особенность: до экзальтации повышенную эмоциональность, экспрессию, сочетающуюся с абстрагированием, отвлеченность чувств, приложенную к отвлеченности богословской мысли.

Это сочетание абстрагирующей тенденции с повышенной эмоциональностью удобно показать на особенностях употребления различных поэтических троп и, в первую очередь, синонимов.

Синонимика в литературе нового времени необходима главным образом потому, что она позволяет выделить оттенки значения⁶⁸. Авторы нового времени пользуются синонимами, чтобы избежать повторения одних и тех же слов, чтобы подчеркнуть ту или иную сторону значения⁶⁹, выделить в синонимах семантические различия. В русском фольклоре художественная функция синонимов очень разнообразна. Наиболее распространенный тип синонимических сочетаний — сращения типа «правда-истина», «род-племя»,

⁶⁷ Подробнее см.: Д. Лихачев. Средневековый символизм в стилистических системах древней Руси и пути его преодоления. Сб. «Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию». М., 1956.

⁶⁸ А. П. Евгеньева. Язык русской устной поэзии (синонимия). — «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VII, М.—Л., 1949, стр. 172 и след.

⁶⁹ Там же.

«честь-хвала» и т. д. В этих парных сращениях особенности значения каждого слова сохраняются, и само сращение приобретает в своем значении особый, дополнительный новый оттенок. Перед нами по существу новое слово, с новыми особенностями значения, новым кругом поэтических ассоциаций и как бы усиленное в своем значении.

Совсем другое мы находим в синонимических сочетаниях высокого стиля XIV—XV вв. Здесь синонимы обычно ставятся рядом, не слиты и не разделены. Автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате, внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а то самое общее, что есть между ними. Простое соседство синонимов устанавливает взаимоограничение между синонимами, стирает в них взаимоисключающие оттенки, значения, позволяет выделить в них основное: «огню горящу и пламени распалюущуся» (ЖСтПерм., 52), «на благый онъ путь и на правоумышленное шествие» (ЖСтПерм., 14), «и желания сердца моего дал ми, и хотѣнна моего не лишил мя» (ЖСерг., 40)⁷⁰.

Тому же служит и обычное в этом стиле нанизывание синонимических сравнений: «младенца в утробѣ носящи, яко нѣкое съкровище многоцѣнное, и яко драгый камень, и яко чюдный бисеръ, и яко съсуд избранъ» (ЖСерг., 12). Сочетание сходных сравнений лишает их конкретности, не позволяет вниманию читателя задержаться на их осязаемой стороне, стирает все видовые отличия, сохраняя лишь самое общее и абстрактное, с другой стороны (и это важно), оставляя у читателя ощущение значительности того, о чем идет речь, ставя стилистический акцент на том, что синонимически повторяется. Нагромождение синонимов, синонимических сочетаний, сходных сравнений, столь характерных для югославянского стиля, не только абстрагирует изложение — оно до предела усиливает его экспрессивность и эмпатичность.

⁷⁰ В русском фольклоре, где имеются довольно разнообразные формы синонимии, представлены, кстати (хотя и не часто), и такие синонимические сочетания, которые по своей стилистической функции совпадают с синонимическими сочетаниями в русской книжности XIV—XV вв.: «закручинилися и запечалилися» («Сборник Кириши Данилова», под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901, стр. 21), «хитрая и мудрая» (там же, стр. 151), и др.

Той же цели абстрагирования изложения, с одной стороны, и усиления его экспрессии, с другой, служат особенно распространенные в «плетении словес» близкие синонимическим сочетаниям парные соединения сходных по значению слов. Авторы избегают употреблять одно понятие, один образ — они стремятся создавать либо целую цепь близких понятий и образов, либо парные понятия и образы, причем одно из понятий может быть видовым и конкретным, а другое (или другие) — родовым и более абстрактным, либо все понятия могут являться видовыми по отношению к объединяющему их родовому, которое только подразумевается, но в тексте отсутствует: «птица обрѣте себѣ храмину и грѣлица гнѣздо себѣ» (ЖСерг., 46), «молчати и на устѣх своих прѣст положити» (ЖСерг., 6), «слышавши и видѣвши» (ЖСерг., 12), «безмолствовал и единствовал» (ЖСерг., 48 и 57) и т. д.

С этим явлением сочетается потеря конкретного, вещественного значения слов; слова абстрагируются в своем значении, вступают в немыслимые, с нашей точки зрения, сочетания, например: волхв в Житии Стефана Пермского оказывается внуком египетской тьмы и правнуком разрушенного столпотворения (ЖСтПерм., 44). Такие необычные абстрактные образы создаются под влиянием того, что многие из понятий употребляются авторами в «духовном смысле». Автор Жития Стефана Пермского, Епифаний, говорит об этом прямо: он называет Пермскую землю «гладом одержимой» и тут же дает пояснение: «гладъ же глаголю не гладъ хлѣбный, но гладъ, еже не слышати слова божиа» (ЖСтПерм., 18).

Авторы стремятся избежать законченных определений и характеристик. Они подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденным. Они без конца подчеркивают те или иные понятия и явления, привлекают к ним внимание, создают впечатление не выразимой словами глубины и таинственности явления, примата духовного начала над материальным. Зыбкость всего материального и телесного при повторяемости и «извечности» всех духовных явлений — таков мировоззренческий принцип, становящийся одновременно и принципом стилистическим. Этот принцип приводит к тому, что авторы широко прибегают и к таким приемам абстрагирования и усиления эмфатичности, которые, с точки зрения нового времени, могли бы скорее счи-

Татьяся недостатком, чем достоинством стиля: к нагромождениям однокоренных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д. Таковы соединения однокоренных слов: «начинающу ми начинание» (ЖСерг., 5), «устрашистеса страхом» (ЖСерг., 28), «запрещением запрётить» (ЖСтПерм., 56—57), «учить учением» (ЖСтПерм., 57) и т. д. Некоторые из подобных однокоренных сочетаний свойственны русскому языку вообще, однако в ряде случаев нарочитость однокоренных сочетаний видна вполне ясно: «и обрѣте и приобрѣте въ правду праваго правителя, могущаго управити мѣсто то» (ЖСерг., 66), «насытите сытых до сытости, накормите крѣмящих вас, напитайте питающихъ вы» (ЖСерг., 88).

Говоря о сочетаниях однокоренных слов, мы должны сказать и еще об одном явлении, связанном с этим, — о своеобразной игре слов, их «извитии». Эта игра слов особого характера, она должна придать изложению значительность, ученость и «мудрость», заставить читателя искать «извечный», тайный и глубокий смысл за отдельными изречениями, сообщать им мистическую значительность. Перед нами как бы священнописание, текст для молитвенного чтения, словесно выраженная икона, изукрашенная стилистическими драгоценностями. «Печаль приат мя и жалость поят мя» (ЖСерг., 6), — говорит о себе автор Жития Сергия Радонежского. Одна из добродетелей того же святого — «простота без пестроты» (ЖСерг., 35). Ту же игру созвучиями, придающими речи особую афористичность, представляют и следующие примеры: «чадо Тимофѣе, внимай чтению и учению и утѣшению» (ЖСтПерм., 7); «един инок, един взъединенный и уединенный и уединяся, един уединенный, един единого бога на помощь призывая, един единому богу моляся и глаголя» (ЖСтПерм., 72).

Все эти приемы не столько способствуют ясности смысла, сколько затемняют его, но одновременно придают стилю повышенную эмоциональность. Слово воздействует на читателя не столько своей логической стороной, сколько общим напряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями и ритмическими повторениями. Жития этого времени пересыпаны восклицаниями, экзальтированными монологами святых, внутренними монологами ⁷¹,

⁷¹ В книге М. Фрийдмана (Melvin Friedman: «Stream of consciousness: a study in literary method. New Haven: Yale University Press. 1955) появление внутреннего монолога в русской литературе связы-

абстрагирующими и эмфатическими нагромождениями синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из священного писания и т. д.

Авторы житий постоянно говорят о своем бессилии выразить словом всю святость святого (ЖСерг., 6; ЖСтПерм. 102), пишут о своем невежестве⁷², неумении, неучености, молятся о даровании им дара слова (ЖСерг., 8), сравнивают себя с неговорящим младенцем, со слепым стрелком (ЖСтПерм., 111); то признают свою речь «неудобренной», «неустроенной» и «неухыщенной» (там же), то приравнивают свою работу к хитрой работе паука: «паучно-точная простирати прядения, акы нити мѣзгиревыхъ тенет пнудати» (там же), при этом сами слова оказываются дороже «тысящъ злата и сребра», дороже злата и «тимпазия» (топаза), дороже камня «самфира» и слаще меду (ЖСтПерм., 17).

Тем же поискам слова отвечают и неологизмы, стремление к которым особенно усилилось в XIV и XV вв. Эти неологизмы необходимы писателям, с одной стороны, потому, что такие лексические образования не обладают бытовыми ассоциациями, подчеркивают значительность, «духовность» и «невыразимость» явления, а с другой стороны, будучи по большей части составлены по типу греческих, придают речи «ученый» характер: «зломудрец» и «злоначинатель» (ЖСерг., 54), «нищекрѣміе» (ЖСерг., 37), «благолиственно» (ЖСерг., 21), «многоплачїе» (ЖСтПерм., 96), «бѣсомолци» (ЖСтПерм., 63), «горопленный» (ЖСтПерм., 87), «волкохищный» (ЖСтПерм., 87), и т. д. Неологизмы XIV—XV вв. вовсе не свидетельствуют о стремлении писателей этого времени к новизне выражения, они и воспринимаются не как нечто новое в языке, а как выражения ученые, усложненные и «возвышенные».

Как ни относиться к художественным целям, которые

вается с именами Толстого и Достоевского; между тем внутренний монолог чрезвычайно развит в древней русской литературе: он наличествует уже в Житии Бориса и Глеба, сильно развивается в эпоху второго южнославянского влияния и представлен великолепными образцами в творчестве протопопа Аввакума.

⁷² Признание своего невежества автором — общее место многих литературных произведений и предшествующего времени, однако в XIV—XV вв. это признание из выражения монашеской скромности становится декларацией литературного характера: оно знаменует собой колебания в поисках слова, стремление адекватно выразить святость описываемого лица, благоговение к нему и т. д.

ставили себе авторы житийно-панегирических произведений конца XIV—XV вв., необходимо все же признать, что они видели в своей писательской работе подлинное и сложное искусство, стремились извлечь из слова как можно больше внешних эффектов, виртуозно играя словами, создавая разнообразные симметричные сочетания, вычурное «плетение словес», словесную «паутину» (ЖСтПерм., 111).

Особо следует остановиться на стремлении писателей XIV—XV вв. к словесной полноте. В Житии Сергия Радонежского находим замечательное высказывание автора: «Сытость бо и длъгота слова ратник есть слуху, яко и преумноженная пища телесем» (ЖСерг., 22). С точки зрения автора Жития Сергия, подобает «длъготою слова послушателем слухи лѣннвы творити» (ЖСерг., 21—22). Иными словами, цель писателя состоит в том, чтобы пространным словом, долгим описанием раскрыть уши слушателям, заставить их понять то, к чему они якобы неохотно, лениво прислушиваются. Это означает, что задача писателя — в экспрессии изображения, в настойчивом доведении до сознания читателя сведений о святом, создании у читателя благоговейного отношения к святому. Отсюда бесконечные повторения, крайнее замедление рассказа, заставляющее читателя обратить внимание на то именно, на что хотел его обратить автор, а с другой стороны, усиливающее эмфатичность повествования, так как замедление рассказа почти всегда повышает его эмоциональность. Поиски «словесной сытости» заставляют авторов давать длинные перечисления («слезы тѣплыя, плаканія душевѣная, въздыханія сердечная, бдѣнія повсенощная, пѣнія трезвенная, молитвы непрестанная, стоянія несѣдалная, чтенія прилѣжная, колѣнопоклоненія частаа» — ЖСерг., 49), прибегать к перифразам («не отбѣжа абие ту от места того, не отече инамо камо, и не отиде никамо же оттуда» — ЖСтПерм., 27), сочетать отрицание с утверждением противоположного («не побѣдихом..., но паче весма побѣжени быхомъ» — ЖСтПерм., 41), разлагать родовое понятие на все входящие в него видовые (вм. «на богослужение» — говорится «на заутренюю, и на литургию, и на вечерню» — ЖСерг., 31, ср. 41), приводить все виды того или иного понятия («болваны истуканная, изваянная, издолбенная, вырѣзомъ вырезаемая» — ЖСтПерм., 35), перечислять признаки («кумиры глухия,

болваны безгласныи, истуканныи безсловесныи»—ЖСтПерм., 45) и т. д.

Последние примеры ясно показывают, кстати, что стремление к абстрагированию явлений касалось лишь тех из них, которые следовало абстрагировать согласно богословским представлениям того времени; в тех же случаях, когда надо было заставить читателя отчетливо ощутить конкретность и материальность явления, авторы XIV—XV вв. умели это делать в высшей степени экспрессивно. Стремясь, например, подчеркнуть, что кумиры мертвы, материальны, что они «древо суще бездушно», Епифаний пишет: «уши имут и не слышать, очи имуть и не узрят, ноздри имуть и не обоняють, руцѣ имуть и не осязають, нозѣ имуть и не поидуть, и не ходят, и не ступают ни с мѣста, и не возгласят гортанми своими, и не нюхают ноздрями своими, ни жертв приносимых принимаютъ, ни пиють, ни ядут» (ЖСтПерм., 28—29). Такая конкретизация и раскрытие «материальности» явления достигается с помощью той же «словесной сытости»: повторений, синонимических сочетаний, перечислений, разложения родового понятия на ряд видовых и т. д. Отличие от абстрагирования только в том, что для абстрагирования «духовное» характеризуется материальным, а материальное «духовным»; в том же случае, когда необходимо создать впечатление полной конкретности и материальности явления, материальное характеризуется сугубо материальным же. Впрочем, это последнее встречается крайне редко. Приведенный пример с пермскими идолами—едва ли не исключение. Отсюда ясно, что абстрагирующие приемы стиля конца XIV—XV вв. лежат в тесной связи с теми задачами, которые ставили себе писатели того времени, находятся в строгой зависимости от их мировоззрения и тотчас же отпадают, как только исчезает и сама необходимость в них.

Ту же строгую зависимость стиля от мировоззрения писателя видим мы и в употреблении эпитетов. К эпитетам этого стиля меньше всего может быть приложено определение их как «украшающих». Обычно они раскрывают такие качества, которые необходимы писателю как христианину и ученому богослову. Эпитеты этого южнославянского стиля не стремятся к изобразительности и наглядности. В них вскрываются не конкретные признаки явления, а его «вечная» сущность; одновременно с помощью эпитетов писатель

добивается сильной эмоциональной окраски описываемых явлений. Эпитеты подчеркивают по преимуществу идеальный признак предмета, признак, составляющий его «вечный» и духовный смысл ⁷³: «радостотворный плач», «богопустный гнев», «боговещательные молитвы», «побѣдительная икона», «нестарѣемая благодать», «тлѣнная слава», «любомлѣчное иноческое житие» и т. д. Иногда эпитет вскрывает не церковную сущность предмета, а его основное качество («чадолюбивый отец», «скорорищущие слуги»), или представляет вместе с определяемым словом тавтологическое сочетание («многосвѣтлый свѣтильник», «воня благовонна» и пр.).

Стиль второго южнославянского влияния определяется художественными задачами, стоявшими перед писателями XIV—XV вв., главным образом перед агиографами. Художественное видение писателей этого времени значительно отличается от предшествующего, особенно в области агиографии, ставшей ведущим жанром эпохи. Это новое художественное видение — прежде всего новое отношение к человеку, сознание ценности его внутренней жизни, его индивидуальных переживаний — и заставляет писателей XIV—XV вв. обращать особое внимание на все стороны эмоционального выражения, на экспрессивность образов и т. д. Но при этом стиль остается по-прежнему абстрагирующим. Познание мира раздвигается, художественные задачи расширяются, статичность описаний предшествующих эпох сменяется крайним динамизмом, но искусство не выходит еще из пределов религиозности и отнюдь не стремится к конкретизации. Поэтому самое характерное и самое значительное явление в изображении людей в житийной литературе конца XIV—XV вв. — это своеобразный «абстрактный психологизм» ⁷⁴

⁷³ В стиле второго южнославянского влияния встречаются те же самые типы эпитетов, которые отмечены А. П. Евгеньевой и для народной поэзии. Основой этих типов служат: «1) подновление нарицательного значения, т. е. смысловая тавтология, 2) подчеркивание выдающегося качества предмета, 3) указание на идеальный, желаемый признак или на самую высокую степень признака» (А. П. Е в г е н ь е в а. О некоторых поэтических особенностях русского устного эпоса XVII—XIX вв. (постоянный эпитет). — «Труды Отдела древнерусской литературы», т. VI. М. — Л., 1948, стр. 165—166). Но те же типы в стиле южнославянского влияния служат другому мировоззрению, чем в народной поэзии, и поэтому эпитет по существу своему является совсем иным.

⁷⁴ Подробнее о художественных методах изображения человека

Литература этого времени проникнута психологизмом: она описывает психологические состояния, главным образом чувства героя, стремится возбудить чувства читателя и говорит в первом лице о чувствах самого автора. Чувства героя, читателя и автора возбуждены до предела, экстатические состояния сменяют друг друга почти непрерывно, чувства ничем не сдерживаются и проявляются с необыкновенной динамичностью, психологические мотивировки поступков и событий проведены с полной прямолинейностью. Но этот психологизм абстрактен: отдельные психологические состояния не слагаются еще в цельную психологию действующего лица, характер человека еще не открыт в литературе. Поэтому самые психологические состояния человека не отличаются разнообразием: молитвенный экстаз, благоговение, духовная радость или, напротив, страсти, злоба, зависть, гнев и т. п. Чувства и страсти, развитые и преувеличенные до предела, живут как бы самостоятельной жизнью, способны к саморазвитию и к внезапным сменам. Они доведены до той степени экспрессии, при которой исчезают все индивидуальные оттенки, все более или менее тонкие различия между психологическими состояниями, которые отчетливо видны, когда они рассматриваются в отдельном человеческом характере.

Описывая эти психологические состояния, писатели XIV—XV вв. озабочены не столько точностью описаний этих состояний самих по себе, сколько передачей своих впечатлений от них. Писатели стремятся подчеркнуть размеры своих чувств, их мистическую значительность и невыразимость. Отсюда постоянные рассуждения авторов о бессилии человеческого языка, об их личном бессилии описать всю святость святого; отсюда многочисленные указания на внешние проявления чувств: плач, крик, вопли, зубовой скрежет или, напротив, экстатическое безмолвие, длительное молитвенное бдение и т. д. Страсти до того сильны, что само тело человека то чернеет, то покрывается струпьями, люди то проливают «реки слез», то замирают в длительном безмолвии, пребывают в молитвенном восхищении. В этих

в житиях XIV—XV вв. я говорю в другой своей работе (Д. С. Л и х а ч е в. Изображение людей в житийной литературе конца XIV — XV вв. — «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XII. М. — Л., 1956). В данном докладе ограничиваюсь лишь самыми необходимыми сведениями.

условиях самые чудеса становятся не только фактами религиозного мировоззрения, но существенным и необходимейшим элементом литературного стиля. Ими оправданы и ими поддержаны внезапные изменения в поведении людей, резкие перемены в их душевном состоянии, общая экзатичность, эмфатичность стиля.

Итак, обычные характеристики стиля второго южнославянского влияния, отмечающие в нем одно только стремление к декоративности, пышности, украшателству и т. д., слишком узки и явно недостаточны. Предстоит очень большая работа по анализу этого стиля, но уже сейчас ясно, что стиль этот связан с особым художественным методом литературы.

Если в основе стиля высокой литературы времени второго южнославянского влияния лежит определенный художественный метод, то возникает возможность сравнить этот художественный метод с художественными методами других искусств, подвергшихся аналогичному влиянию в XIV и XV вв.

* * *

Вернемся к живописи XIV — начала XV в. и обратимся к рассмотрению ее стиля с точки зрения тех общих основ, которые объединяют стиль живописи этого времени со стилем литературы.

Выше уже было отмечено, что южнославянское влияние, в частности сербское, бесспорно сказалось не только в литературе, но и в живописи (фрески церкви Спаса на Ковалева, Благовещения на Городище). Это южнославянское влияние в живописи пришло в Россию в недрах того восточноевропейского стиля живописи XIV в., который принято называть (не совсем удачно) «Палеологовским ренессансом».

Не вдаваясь в частные различия, которые существовали между отдельными художниками XIV в. и отдельными школами иконописи, нетрудно выделить то общее, что объединяет их всех между собой и связывает их с новым южнославянским стилем в литературе.

Связь живописного стиля XIV в. с художественным методом житийно-панегирической литературы конца XIV—XV вв. обнаруживается в целом ряде общих явлений.

«Абстрактный психологизм», свойственный южнославянскому стилю в литературе, сказывается и в живописи этого времени. Новгородские и псковские фрески XIV в. (Снетогорские, Мелетовские, Сквородские, Спаса на Ильине, Волотовские, Федора Стратилата, Спаса на Ковалеве и др.) отличаются преувеличенной эмоциональностью, экспрессивностью, попытками передать стремительное движение, абстрагировать образы людей и самый архитектурный стаффаж, сделать и то и другое как бы невесомым, движущимся в абстрактном пространстве, изобразить фигуры людей как бы летящими по воздуху в экстатическом порыве с сильно развевающимися одеждами, внести общий ритм во всю композицию росписи и т. д.

Характеризуя фрески Волотова, Б. В. Михайловский пишет: «Фигуры на волотовских фресках кажутся реющими в дымке, тающими, призрачными... У новгородских фрескистов и Феофана изображаемый материальный предмет выглядит «феноменом», иллюзией, созданной творящим духом и готовой вот-вот рассеяться. Эта живопись стоит ближе, чем рублевская, к средневековому спиритуализму...»⁷⁵

Многие из фигур волотовских фресок полны «доходящим до иступления состоянием возбужденности и взволнованности»⁷⁶, преувеличенными чувствами, стремительным движением.

Среди сюжетов, типичных для живописи XIV—XV вв., следует в первую очередь отметить сюжеты протоевангельского цикла: композиции, иллюстрирующие легенды и апокрифы из жизни богоматери. Н. Г. Порфиридов пишет об этом протоевангельском цикле: «Композиции протоевангельского цикла встречаются и в стенописях XI—XII вв.: Дафни, Киевской Софии, Старой Ладого, Нередицы. Но тогда они являлись более или менее случайными и не играли той роли, как в стенописях XIV в. Здесь употребление их приобретает такое распространение и популярность, наполнено таким значением, что становится характерною

⁷⁵ Б. В. Михайловский и Б. И. Пуришев. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в., стр. 24.

⁷⁶ М. В. Алпатов. Фрески храма Успения на Волотовом поле. «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР». Сборник статей под ред. академика И. Грабаря. М.—Л., 1948, стр. 135.

чертою. Западные памятники: Капелла del Агепа, расписанная Джотто; византийские, как Кахрие-Джами — б. монастырь Хоры в Константинополе; греческие росписи Мистры — Митрополия и Периблепта; македонские и сербские росписи — церковь Петра на острове Град, Кральева церковь в Студеницкой лавре; русские памятники, — все они неизменно содержат в большем или меньшем обилии циклы богородичных композиций. В Волотове их 12, в Капелле del Агепа — 14, в Кахрие-Джами — 19, в Периблепте Милле насчитал 21 композицию»⁷⁷.

Композиции протоевангельского цикла характерны своей человечностью, психологизмом, эмоциональностью.

Еще больше этой эмоциональности в композиции, известной под названием «Христос во гробе» («Pieta») и чрезвычайно распространенной в XIV в. как в Византии, южнославянских странах, так и в России (росписи Волотова, Ковалева, Благовещения на Городище, в ряде икон). Сюжет этот чрезвычайно эмоционален, чувства выражены в ней обычно с большой экспрессией. Эта экспрессия, драматизм, крайняя эмоциональность поражает зрителя во всех новгородских фресках XIV в., какие бы сюжеты они ни изображали: успение богородицы, положение во гроб, вознесение, сошествие в ад, вход в Иерусалим, рождество Христово, рождество богородицы и т. д.

Н. Г. Порфиридов⁷⁸ и В. Н. Лазарев⁷⁹ видят в этой эмоциональности, повышенной психологичности и экспрессивности выражения «опрошение» церковных сюжетов, их конкретизацию, очеловечение и общее приближение к реализму. В. Н. Лазарев определяет даже в волотовских фресках «то реалистическое направление, которое питалось живыми народными источниками и давало наименее церковное толкование религиозным темам»⁸⁰.

Несмотря на резко выраженный психологизм, умение передавать сильные душевные волнения, экстатические порывы, движение, жесты и составлять сложные многофигурные композиции, художники XIV в. лишь приближаются

⁷⁷ Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI—XV вв., стр. 277.

⁷⁸ Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI—XV вв., стр. 278 и сл.

⁷⁹ «История русского искусства», т. II, стр. 159.

⁸⁰ Там же.

к более проникновенному пониманию действительности, к более сложному ее изображению, стремление же к отвлеченности отнюдь не уменьшается, а отчасти даже возрастает. Живопись XIV в. полна мистики, устремления к потустороннему, отрешенности от всего материального. Изображения по-прежнему отвлечены, человеческие фигуры «дематериализованы» в еще большей степени, чем раньше. Если раньше, в росписях и мозаиках XII—XIII вв., фигуры святых изображались фронтальными рядами, неподвижными, как бы повисшими в абстрактном пространстве (синий или золотой фон), с прямо устремленными перед собой глазами, то теперь человеческие фигуры охвачены сильным движением, лишены прежней торжественности и «корпусности»; они изображаются во всевозможных ракурсах, их одежды развеваются, их жесты широки, резки, они охвачены овладевшими их чувствами, но эти изображения не менее, чем раньше, абстрактны, отрешены от всего материального.

Во всем этом русская живопись XIV в. близко сходится с русской литературой XIV в., хотя эта связь, само собой разумеется, может быть отмечена только в самой общей форме: там, где литература и живопись соприкасаются между собой в сфере художественного видения мира и идеологии. Но есть и отличия: новые веяния в русской живописи, вследствие интернациональности языка изобразительного искусства, сказываются очень рано — уже в начале и середине XIV в. (фрески Снетогорского монастыря 1313 г. и фрески Михайло-Сковородского монастыря середины XIV в.⁸¹), тогда как в литературе черты новой, южнославянской манеры появляются не ранее конца XIV в. Может быть, именно потому, что в живописи черты нового сказались раньше, чем в литературе, в первой они оказались и более зрелыми. В частности, в живописи может быть отмечен гораздо больший интерес к индивидуальному, чем в ли-

⁸¹ В датировке фресок Михайло-Сковородского монастыря соглашаемся не с Ю. А. Олсуфьевым, относившим их к концу XIV в. (Ю. А. Олсуфьев. Вновь раскрытые фрески в Новгороде. — «Архитектурная газета», 18 октября 1937 г.), а с В. Н. Лазаревым, относящим их к концу 50-х годов XIV в. (В. Н. Лазарев, Росписи Сковородского монастыря в Новгороде. — «Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР», стр. 91 и сл., особенно стр. 100; «История русского искусства», т. II, стр. 142.).

тературе. Вот что пишет о творце волотовских росписей Н. Г. Порфиридов: «Мастеру хочется индивидуально характеризовать каждое изображаемое лицо. Имеют свои, непохожие друг на друга, облики пророки. Неожиданны в их острой характеристике цари Давид и Соломон, в особенности последний. Большое человеческое разнообразие придано святителям в алтаре. Изображения двух новгородских владык-ктиторов, Моисея и Алексея, отмечены чертами портретности. Мастер сумел индивидуализировать, предварительно очеловечив, даже ангелов»⁸². Сходную индивидуализацию отдельных образов отмечает Н. Г. Порфиридов и для росписей Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине: «Щедро рассыпанное в Волотове мастерство индивидуальных характеристик в живописи Спаса достигает совершенно изумительного уровня. Пророки в барабане здания, святители в диаконике, в особенности святые в северо-западном приделе на хорах (Макарий, Акакий, столпники), являются образцами острых психологических характеристик, способных казаться почти невероятными для своего времени.

В этой любви к характерному, почерпнутому из жизненных наблюдений, чувствуются эллинистические традиции. Отдельные типы и головы фресок Спаса (как и Волотова) по силе и выразительности не уступают созданиям великих мастеров Возрождения, микельанджеловской силе»⁸³.

Мы видели, что так называемый «Палеологовский ренессанс» в живописи и южнославянский стиль в литературе XIV в. во многом схожи, хотя многие общие черты сказались в живописи раньше и сильнее. Это вселяет в нас надежду, что те объяснения, которые давались в искусствоведении новым, особым чертам восточноевропейской живописи XIV в., смогут дать нам ключ к пониманию и явлений письменности того же периода.

Мне представляется, что правы те, кто видят определенную связь между мистическими течениями общественной мысли XIV в. на Балканах и новыми явлениями в области живописи. Связь живописи Феофана Грека с еретическими

⁸² Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI—XV вв., стр. 280—281.

⁸³ Там же, стр. 287.

и мистическими движениями XIV в. была отмечена уже Б. В. Михайловским. «Творчество Феофана, — пишет Б. В. Михайловский, — было проникнуто тем мрачным дуализмом, теми представлениями о могуществе зла в мире, тем экстагическим порывом к освобождению от материального и к слиянию с духовным, которые несли в мир утонченной византийской культуры еретические секты переднеазиатского Востока (вроде богомилов, гезихастов и др.)»⁸⁴.

В более осторожной форме ту же связь отмечает и В. Н. Лазарев: «В век, когда еретические движения разлились широким потоком по территории Западной и Восточной Европы, остро субъективное искусство Феофана должно было пользоваться большим успехом»⁸⁵.

Связь живописи Феофана Грека с определенными идеями была замечена и его современниками, называвшими его «философом». Но не одна только живопись Феофана была связана с мистическими движениями XIV в. Те же типично еретические особенности были отмечены исследователями и для волотовских росписей, выполненных по повелению ставленника новгородских ремесленников, архиепископа Василия Калики⁸⁶.

Связь нового стиля в литературе с новыми умственными течениями отчетливо может быть замечена на самом составе переводной литературы XIV—XV вв.

⁸⁴ Б. В. Михайловский и Б. И. Пуришев. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в., стр. 28.

⁸⁵ «История русского искусства», под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева, т. 2, стр. 159.

⁸⁶ Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 767—776. — Василию Калике, по-видимому, принадлежит «Сказание о святых местах, о Костянтинограде» (М. Н. Сперанский. Из старинной новгородской литературы XIV в. Л., 1934, стр. 106), где он проявляет многозначительное внимание к памятникам искусства, затем «Послание епископу Федору о земном рае» (см. Софийскую вторую летопись и др.), где он высказывает не совсем каноническую идею земного рая и опирается на апокрифы. Сделанные в 1336 г. Васильевские золоченые врата Софийского собора (ныне в Александрове) отражают апокрифические сюжеты (см. альбом к «Вестнику археологии и истории», изд. Археологическим институтом, вып. 1—4. СПб., 1885, табл. IV—V; И. И. Толстой и Н. П. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. VI. СПб., 1899, рис. 104—106; «Древности Российского государства», отд. VI. М., 1854, № 33).

Далеко не полный список литературных произведений, появившихся в нашей литературе после первой половины XIV в. вследствие сношений с южными славянами, прилагаемый А. И. Соболевским к его работе «Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках»⁸⁷, совершенно ясно показывает направление интересов, которыми обуславливалось это влияние: перед нами по преимуществу новинки созерцательно-аскетической литературы исихастов или сочинения, ими рекомендованные и им близкие. Здесь произведения Григория Синаита⁸⁸ и Григория Паламы, а также их жития, произведения патриарха Каллиста и Евфимия Тырновского; Филофея Синаита, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника («Лествица»), Максима Исповедника, Василия Великого, Илариона Великого, Аввы Дорофея, инока Филиппа («Диоптра»), Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова и др.

Печать интереса к христианско-аскетическим темам лежит и на произведениях полусветского характера, распространившихся на Руси именно в это время: на сербской христианизированной Александрии, на Повести о Стефаните и Ихнилате, на апокрифической литературе этого времени и т. д.

Мистические течения XIV в., охватившие Византию, южных славян и в умеренной форме Россию, ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, проповедовали возможность индивидуального общения с богом в созерцательной жизни и в этом смысле были до известной степени противоцерковными. И это относится прежде всего к учению исихастов⁸⁹.

Необходимо учитывать, что глава нового движения в письменности, тырновский патриарх Евфимий, известный своими книжными реформами, был учеником Феодосия

⁸⁷ А. И. С о б о л е в с к и й. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков, стр. 15—24.

⁸⁸ О славянских рукописях с творениями Григория Синаита см.: П. С ы р к у. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. I, стр. 239—240.

⁸⁹ О связи учения исихастов с еретическими движениями XIII—XIV вв. и о последующем отношении их к русским ересям см. работу: Konrad O n a s c h. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinisch-slawischen Orthodoxie.—Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik», I, herausgegeben von Johannes Irmscher, Berlin, 1957.

Тырновского — друга константинопольского патриарха Каллиста и ученика основателя исихастского движения Григория Синаита. Отсюда понятно, почему Евфимий был воспитан «в строгих началах исихастов»⁹⁰.

Школа исихастов сыграла выдающуюся роль в культурном общении между болгарами и сербами в XIV в. Это общение частично осуществлялось с конца первой половины XIV в. через Парорийский монастырь преподобного Григория Синаита, где были монахи сербы, болгары и греки.

В России исихазм оказывал воздействие главным образом через Афон. Центром новых мистических настроений стал Троице-Сергиев монастырь, основатель которого Сергей Радонежский «божественныя сладости безмолвіа въкусив» (ЖСерг., 57).

Из этого монастыря вышел главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в живописи Андрей Рублев (безмолвная беседа ангелов — основная тема Рублевской иконы Троицы).

«Безмолвие» исихастов было связано с обостренным чувством слова, с сознанием особой таинственной силы слова и необходимости точного выражения в слове сущности явления, с учением о творческой способности слова.

Сложное учение исихастов, возрождавшее неоплатонические идеи, нуждается во внимательном изучении. Ясно одно: в нем сказался тот же интерес к психологии человека, к «внутреннему человеку» (термин одного из основателей исихазма — Григория Синаита), к его индивидуальным переживаниям, к возможностям личного общения с богом, а также те поиски интимного в религии, которые были характерны для многих культурных явлений XIV в.

Изучая исихазм, мы не должны выделять его из других умственных и религиозных течений того же времени. В частности, несмотря на вражду паламитов и варлаамитов, в учении последних также могут быть отмечены черты нового, как они могут быть отмечены и в собственно еретических движениях XIV в. — в болгарском богомилстве и русском стригольничестве.

⁹⁰ П. Сырку. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV—XVII веках, стр. LXXIII.

Исихазм отнюдь не был ересью в собственном смысле этого слова. Больше того, отдельные исихасты и, в первую очередь, сам Евфимий Тырновский деятельно боролись с ересями⁹¹. Но живая связь этого мистического течения с неоплатонизмом, свободное отношение к обрядовой стороне религии, своеобразный мистический индивидуализм делали его типично предвозрожденческим явлением, характерным для эпохи поздней готики на Западе.

Говоря о мистических течениях XIV в., мы не можем считать правильной ту их характеристику, которая в свое время была предложена Н. С. Державиным⁹² и поддержана Д. Ангеловым в его книге «Богомилство в Болгарии»⁹³.

Д. Ангелов пишет: «В период, когда беды и несчастья грозили со всех сторон, в период феодальных распрей и чужеземных вторжений, большая часть людей вообще отказалась от борьбы и сопротивления. Эти люди, охваченные страхом перед загробной жизнью и будущим возмездием, помышляли только о «делах небесных». Для борьбы у них не хватало ни сил, ни желания. Они все более и более помышляли о спасении души, стремились к бегству от мира, к молчаливому и пассивному отказу от земных утех, а равно и от земных забот... Религиозно-мистические настроения толкали людей на уход от реальной жизни, от «ужасного и несправедливого мира», уход, который, по их мнению, был необходим для «спасения души». Выражением подобных настроений, разделяемых не только болгарским народом, но и соседними балканскими народами, которые шли тем же путем политического и экономического упадка и разложения, был исихазм. Это было новое религиозно-философское учение, конечной целью которого было отвлечь человека от реальной действительности и поставить его в прямое соприкосновение с некоей «божественной энергией»⁹⁴. Однако исихазм — это сложное богословское учение, испытавшее влияние не только неоплатонизма, но и других философских систем, созданных многими поколениями, — не мог получить распро-

⁹¹ См. В. Сл. К и с е л к о в. Проуки и очерти по старобългарска литература, стр. 178—180.

⁹² Н. Д е р ж а в и н. История Болгарии, т. II. М.—Л., 1946, стр. 134 и сл.

⁹³ Русский перевод: Д. А н г е л о в. Богомилство в Болгарии. М., 1954.

⁹⁴ Правильная оценка исихазма дана в кн.: Н. Д е р ж а в и н. История Болгарии, т. II, стр. 134 и сл. (примечание Д. Ангелова).

странения в широких народных массах. Он оставался достоянием лишь избранного круга мыслителей из среды византийского и болгарского духовенства. Наоборот, богомильское учение — более простое и понятное, вновь начало распространяться в народе, однако на этот раз оно развивалось уже в новых формах, отвечающих духу времени и преисполненных мистическими и аскетическими настроениями»⁹⁵.

Мне представляется, что устанавливать непосредственную связь между «бедами и несчастьями», с одной стороны, и идейными движениями, с другой, охватившими «большую часть людей», нет фактических оснований. Вместе с тем, трудно поверить, чтобы у большинства народа не хватало «ни сил, ни желания» для борьбы и что только в результате этой общественной апатии народа возникло его умственное движение, которое, как мы знаем, хотя и пропагандировало пассивность, но само распространялось путем ожесточенной борьбы и охватило в той или иной мере письменность, литературу, живопись и т. д. Мистицизм в истории общественных движений играл различную роль. Он был характерен для раннего возрождения на Западе, служил выражением общественного протеста против подчинения личности церковным обрядам, свидетельствовал о стремлении человека к различным переживаниям помимо церкви и т. д.

Характеризуя явления подобного рода, Ф. Энгельс писал: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт...»⁹⁶.

Связь между мистическими и мистико-еретическими учениями XIV в. и различными явлениями литературы и искусства может быть показана на отдельных примерах.

Мне представляется в высшей степени удачным предложенное М. В. Алпатовым толкование общей системы Волоотовских росписей как системы, изображающей путь к совершенству. Это толкование ясно показывает связь Волоотовских росписей с исихастскими учениями об индивидуаль-

⁹⁵ Д. Ангелов. Богомилство в Болгарии, стр. 148—149.

⁹⁶ Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. Собр. соч., изд. 2, т. 7, М., 1956, стр. 361.

ном восхождении человека к божеству. М. В. Алпатов указывает на связь этих идей с предвозрожденческими тенденциями XIII—XIV вв.: «Прежде чем средневековый человек решился объявить человеческую природу достойной прославления, а реальный мир главным предметом искусства, он долгое время искал на «грешной земле» хотя бы отблеск высшего блага. В XIII—XIV вв. в искусстве Запада многократно разрабатывалась тема земного странствия Христа. В XIII в. среди скульптуры Реймского собора нашло себе место изображение Христа в войлочной шляпе с посохом в руке⁹⁷. В 1358 г. Гильом де Гельвиль пишет поэму о странствии Христа; в иллюстрациях к ней представлено, как бог-отец передает суму и посох голому юноше — Христу⁹⁸. В XIII—XIV вв. на Западе получают широкое распространение рассказы о явлении Христа отдельным людям»⁹⁹. В этой связи М. В. Алпатов закономерно рассматривает и вологовскую композицию «явления Христа в образе нищего некоему игумену».

Мистические озарения, экстаз, сильные душевные движения, чувство благоговения и непосредственной связи с богом столь же отчетливо сказываются в темах «Палеологовского» стиля живописи, как и в стремлении авторов житий возбудить аналогичные переживания у их читателей.

Мы не должны доверять спорам XIV в. и делить представителей различных течений XIV в. так, как их делили в XIV в., противопоставляя одних другим: варлаамитов — паламитам или наоборот. Мы не должны считать одних только прогрессивными, других только реакционными, одних еретиками, других ортодоксами. И у тех, и у других мы можем заметить «знамения нового времени» — явления, типичные для эпохи восточноевропейского Предвозрождения.

⁹⁷ Воспроизведено П. Витри (P. Vitry. Le cathédrale de Reims, Paris, 1916). Д. Айналлов («Византийская живопись XIV столетия». Пг., 1916, стр. 144) писал: «Я не знаю более раннего изображения Христа нищего, чем «Дуччио в его Сиенской иконе» (примечание М. В. Алпатова).

⁹⁸ A. Didron. Histoire de Dieu. Paris 1843, стр. 27 (примечание М. В. Алпатова).

⁹⁹ А. Вертеловский. Западная средневековая мистика и ее отношение к католицизму. Харьков, стр. 258 и сл. (примечание М. В. Алпатова). Цитируется: М. В. Алпатов. Фрески храма Успения на Вологовом поле.—«Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР», стр. 123—124.

Как это часто бывает, история вершит свой суд, признавая правыми обе стороны, но правыми не в абсолютном смысле, а в чисто историческом: мы видим сейчас то, чего не видели спорящие,— историческую оправданность воззрений тех и других (и варлаамитов и паламитов). Единство явлений в области литературы, искусства, философско-богословской мысли, охватывающих Византию, южнославянские страны и Россию, позволяет говорить не об отдельных направлениях в искусстве, в литературе и в философско-богословской мысли, а о едином восточноевропейском движении, которое лучше всего было бы определить как восточноевропейское Предвозрождение, которое охватило Византию, Болгарию, Сербию, Россию, Кавказ и, в известной мере, Малую Азию¹⁰⁰.

Это не Возрождение, так как оно носит еще в значительной мере религиозный характер, связано с позднеготическим мистицизмом, с позднеготической эмоциональностью и экспрессивностью. Это движение еще не противостоит средневековью. Религиозное начало не оттесняется на второй план, как это было в западноевропейском Возрождении. Напротив, оно развивается в пределах религиозной мысли и религиозной культуры¹⁰¹. Оно также полно интереса к античной и эллинистической культуре, носит уже отчетливо выраженный «ученый» характер и связано в Византии с филологическими штудиями¹⁰².

Предлагаемый мною термин «восточноевропейское Предвозрождение» представляется мне более удачным, чем термин «Палеологовский ренессанс», принятый у искусствоведов в отношении одной части культурных явлений этого по-

¹⁰⁰ Вопрос о восточноевропейском Предвозрождении требует особых исследований. Укажу только, что в изучении Предвозрождения Закавказья необходимо не упустить из виду серьезную работу Г. Габриэляна «К вопросу об армянском возрождении». «Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные науки», 1956, № 6 (на армянском языке). Статья направлена против концепции В. Чалояна, утверждающего, что Возрождение возникло в Армении раньше, чем в Западной Европе.

¹⁰¹ О связи византийско-болгарских мистических учений с предвозрожденческой мистикой и еретичеством на Западе см. в книге: К. Р а д ч е н к о. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, гл. II. («Религиозно-нравственное состояние Византии в XIV столетии и влияние развившихся в это время философско-богословских идей ее на духовную жизнь в Болгарии», стр. 51—168).

¹⁰² Ф. У с п е н с к и й. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891, стр. 246—365.

рядка в живописи. Другая терминология, предложенная в самое последнее время немецким исследователем Конрадом Онаш — «Ренессанс» и «Предреформация»¹⁰³, также представляется мне не совсем точной. В силу ряда причин, рассмотрение которых выходит за пределы данного доклада, восточноевропейское Предвозрождение не перешло у нас в настоящее Возрождение. Россия, балканские страны и Византия не знали ни гуманизма, ни настоящего Ренессанса.

Во всяком случае задача будущих исследователей внимательно отнестись к тем росткам нового, которые могут быть определены в умственной жизни восточноевропейских стран: у южных славян, в Византии и в России.

3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ЧЕРТЫ В ДВИЖЕНИИ ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ

Были ли в этом движении национальные отличия? Безусловно, были. Национальные отличия в области живописи восточноевропейского Предвозрождения достаточно подробно изучены в искусствоведческой литературе¹⁰⁴. Национальные отличия в литературах, к сожалению, не изучены. Не сделано даже попыток хотя бы в самой общей форме охарактеризовать отличия русского стиля «плетения словес» от южнославянского. Отчасти это объясняется тем, что русские приемы «плетения словес» считались механическими заимствованиями у южных славян без каких-либо признаков самостоятельного их развития. Между тем зависимость русского панегирического стиля от стиля южнославянского заключается не столько в заимствовании отдельных приемов (этих заимствований, конечно, было много), сколько в переносе к нам самой системы стиля и лежащего в основе этой системы художественного метода, нового отношения к внутреннему миру человека.

¹⁰³ K. O n a s c h. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinisch-slawischen Orthodoxie.—«Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik», I. Berlin, 1957.

¹⁰⁴ Характеристику национальных школ в живописи «Палеологовского ренессанса» и литературу вопроса см.: В. Н. Л а з а р е в. История византийской живописи, т. I, стр. 236—258. Следует особо отметить то обстоятельство, что черты нового стиля в связанном с византийской живописью монументальном изобразительном искусстве Кавказа появились раньше, чем в самой Византии. См. Ш. Я. А м и р а н а ш в и л и. История грузинского искусства, т. I. М., 1950, стр. 186 и сл.

В характеристике стиля, типичного для времени второго южнославянского влияния в России, мы опирались выше главным образом на жития Епифания Премудрого. Это сделано было сознательно: Епифаний дает нам наиболее яркие и последовательные, внутренне цельные образцы нового стиля. Сравнивая Епифания с южнославянскими авторами XIV и XV вв., мы убеждаемся, что новый стиль достиг своего наибольшего и последовательнейшего развития именно в России (у Епифания).

Южнославянские жития XIV в., как переводные, так и оригинальные, отнюдь не могут считаться образцами русских житий Епифания. Возьмем, например, житие исихаста Ромила, написанное исихастом же монахом Григорием¹⁰⁵.

Прежде всего отметим, что в житии Ромила нет, собственно, «плетения словес», т. е. пользования однокоренными и созвучными словами, ассонансами, синонимикой и ритмикой речи для создания своеобразного словесного орнамента. Есть только некоторые подступы к этому «плетению». Особенно часто пользуется Григорий парными сочетаниями близких по значению слов («трудника и страдальца» — ЖРом., 9; «поруганіа и уничиженіа» — ЖРом., 9; «рыдающая и плачуща» — ЖРом., 12 и т. д.).

Конкретных описаний событий с упоминаниями бытовых подробностей в житии Ромила несравненно больше, чем в произведениях Епифания. Неоднократно отмечалась в исследовательской литературе картинность описания рыбной ловли зимой, строптивного нрава старца, которому служил Ромил, и т. д. Кроме того, в житии Ромила встречаются, как уже отмечалось в литературе, народные речения и народные поговорки¹⁰⁶. Это не значит, что автор жития Ромила

¹⁰⁵ Уже первый издатель его славянского текста П. А. Сырку предположил, что житие Ромила могло бы быть и переводным («Монаха Григория Житие преп. Ромила». СПб., 1900, стр. XV.). Открытый И. Дуйчевым текст этого жития на греческом языке (Iv. D u j ě e v. Un manuscrit grec de la vie de St. Romile.—«Studia Serdicensia», II, 1940, стр. 88—92; И. Д у й ч е в. Из старата българска книжнина, II. София, 1944, стр. XXIX) подтверждает это предположение, но окончательное решение этого вопроса будет принадлежать филологическому анализу обоих текстов.

¹⁰⁶ П. Н. С ы р к у. Монаха Григория житие преп. Ромила, стр. IV и сл.; П. Д и н е к о в. Стара българска литература. Втора част, стр. 47.

отказывается от попыток абстрагировать изложение. Эти попытки встречаются постоянно: описывая тот или иной случай, автор делает это в выражениях, подчеркивающих его общий смысл, «духовный» характер. Это сказывается, главным образом, в употреблении оценочных эпитетов, определяющих нравственный характер того или иного явления: «здраводушевный» (ЖРом., 1), «доброплачевный» (ЖРом., 13, 16, 17), «злолютный» (ЖРом., 12), «любобожественный» (ЖРом., 14) и т. д., или же в употреблении составных существительных, первая часть которых усиливает имеющийся в самом понятии элемент оценки или прямо определяет его с нравственной стороны: «жестокословие» (ЖРом., 9), «злопомнение» (ЖРом., 25), «острогневие» (ЖРом., 25) и т. д. Вместе с тем, житие обильно насыщено общераспространенными в христианской литературе символами и образами.

Если новое отношение к человеку, к его психологии, к эмоциональной стороне его внутренней жизни не достигло еще в самом стиле жития Ромила той же степени законченности, что в произведениях Епифания Премудрого, то в содержании оно отражено в полной мере. Григорий усиленно интерпретирует и обобщает все частные события жития в духе учения исихастов («ибо безмльвие принимнеть плачь» — ЖРом., 17; «аще ли же от прьваго прилога супротивнаа сѣмена сиа прїимемь, въ съчетаніе абіе приходимь, от съчетаніа же въ съложеніе, от сего же въ злодѣаніе приходяще» — ЖРом., 26—27 и т. п.), подытоживает конкретные факты (часто приводимые в порядке перечисления) общей сентенцией, объединяет их в единую отвлеченную категорию и т. д.

Учение исихастов дает себя знать в несравненно большей степени в житии Ромила, написанном монахом Григорием, чем в житиях, написанных Епифанием.

То же мы можем сказать и о других житиях этого времени — оригинальных и переводных. Конкретные описания и бытовые сцены отличают жития Григория Синаита, Феодосия Тырновского, Илариона Мегленского и Ивана Рыльского от последующих русских житий. Вместе с тем, святые исихасты выступают в них наставниками «умного делания» и борцами с ересями (с богомилами, с Акиндином и Варлаамом — см., например, ЖФеод., 18 и сл.), они отличаются обостренным вниманием к внутренней жизни

людей, рисуют по преимуществу историю душевного развития святых, их «внутреннюю биографию», для которой внешние события жизни служат только своего рода знаками. Но стилистически это внимание к внутренней жизни человека, к его эмоциям не находит себе еще столь яркого выражения, как в житиях Епифания Премудрого.

И в стиле этих житий следует отметить парные сочетания близких по значению слов, например: «моля и призывая» (ЖИВР., 481), «вѣра и усръдіе» (ЖИВР., 488), «дивнаа и ужаснаа» (ЖИВР., 488), «изгнание и заточение» (ЖИЛМ., 500), «непрѣклонни и неумолими» (ЖИЛМ., 501), «страхом и ужасом» (ЖИЛМ., 502) и др. Но главную роль, как это мы отмечали и в житии Ромила, играют абстрагирующие образы и сочетание абстрактных понятий с конкретными: «свѣт богоразуміа» (ЖИЛМ., 493), «древо сажденное при исходящих вод духа» (ЖИЛМ., 499), «облако мятежа» (ЖИВР., 483) и т. д. Особенно излюблены сочетания с эпитетом «душевный» или «духовный»: «духовное веселие» (ЖИВР., 489), «душевные очи» (ЖИВР., 481 и 483; ЖИЛМ., 491), «духовное питіе» (ЖФеод., 13), «радости духовние» (ЖФеод., 13) и др.

Гораздо большее отношение к новому стилю житийной литературы в России имеют не южнославянские жития, а панегирические сочинения южнославянских писателей, в первую очередь Григория Цамблака. Панегирический стиль Григория Цамблака не только абстрагирующий, но и необычайно экспрессивный. В его произведениях мы встречаем почти все те элементы нового стиля, которые так характерны для произведений Епифания. Особенно изумляют пышные и развитые сравнения. Здесь и тучи слез, и тьмы стрел, пронзающих душу (ГрЦамбл., 56), и «живые камни» (ГрЦамбл., 29), и «трѣпѣніа пламень» (ГрЦамбл., 36), и «умная гора» (ГрЦамбл., 41) — все то, что до крайности увеличивает экспрессивность изложения, гиперболизирует чувства и усиливает динамичность. Заботится Григорий Цамблак и о «гладкости к течению глагольному» (ГрЦамбл., 41), его речь стремится к известной ритмичности, он насыщает ее единоначатиями¹⁰⁷, нагромождает сравнения, си-

¹⁰⁷ Ср. например: «Еда низпаде печалію паче подобающаго? Еда умякчи ся страхом? Еда малодушьствова или разлѣнися? Еда отбѣже, стадо расхищаемо видя? Еда провѣща малъ или великъ тогова любоудрїа недостоинъ глаголь?» (ГрЦамбл., 51).

нонимические сочетания и т. д. Однако надо все же сказать, что самое искусство «плетения словес» Григория Цамблака не достигает такой изощренности, как у Епифания Премудрого. В этом отношении Епифаний не знает себе равных ни среди южнославянских, ни среди других русских писателей XIV—XV вв., хотя искусство «плетения словес» и достигает у последних очень высокого развития (ср., например, «Слово о житии и преставлении царя Дмитрия Ивановича»).

По-видимому, дело обстоит таким образом, что стиль «плетения словес» получил свое наибольшее развитие именно в России. Здесь же он получил самостоятельное распространение в житиях, идеи же, его питавшие, получили равное развитие в Византии и в южнославянских странах, а вслед за ними и в России, но в последней — без столь резких специфично-исихастских черт. Отсюда ясно, что в области стиля «плетения словес» русские писатели далеко не механически следовали за южнославянскими образцами, творчески их развивая в духе нового предвозрожденческого сознания ценности внутренней жизни человека, ценности его эмоциональных переживаний.

Само собой разумеется, что точнее ответить на вопрос о том, что именно в новом панегирическом стиле русские заимствовали у южных славян, а что творчески развили и углубили, будет возможно только тогда, когда будут произведены соответствующие частные исследования.

Некоторые национальные черты объединяют русскую литературу, подвергшуюся южнославянскому влиянию, и русскую живопись, подвергшуюся воздействию так называемого «Палеологовского ренессанса». Установить эти национальные черты нетрудно, сравнив параллельно Епифания Премудрого с Пахомием Сербом и Андрея Рублева с Феофаном Греком.

Пахомий Серб и Феофан Грек были на Руси «захожими талантами», много сделавшими на своей второй родине, много от нее позаимствовавшими¹⁰⁸, но в целом сохранившими свое национальное своеобразие. Если сравнить худо-

¹⁰⁸ Пахомий Серб занимался, главным образом, переделкой предшествующих русских произведений. Естественно, что он многому научился у их авторов и частично воспринял старые русские традиции (см. В. Я б л о н с к и й. Пахомий Серб и его агнографические писания. Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908).

жественные методы Пахомия Серба и Феофана Грека с художественными методами Епифания Премудрого и Андрея Рублева и при этом постараться отбросить чисто индивидуальные особенности их творчества, то ясно станет одно: в творчестве обоих последних ясно сказываются художественные традиции домонгольской Руси: в творчестве Андрея Рублева традиции владими́ро-суздальской живописи XII в., которые он усвоил¹⁰⁹, в произведениях же Епифания Премудрого — традиции домонгольского ораторства и домонгольской агиографии. Через голову своих непосредственных предшественников Епифаний Премудрый обращается к традициям Киевской Руси времен ее расцвета. Иларион и Кирилл Туровский — два писателя, ораторские приемы которых сказываются в произведениях Епифания, не столько в механических заимствованиях из них, сколько в самой системе использования христианских символов и в искусстве построения речи.

Различия стиля Епифания Премудрого и Пахомия Серба были довольно метко подмечены В. П. Зубовым¹¹⁰. Епифаний был непревзойденным мастером «плетения словес», с рифмами, ассонансами, ритмическими повторениями и т. д. Стиль произведений Пахомия Серба более прост и лишен талантливой изощренности Епифания. Особое пристрастие Епифаний Премудрый имеет к плачам («плач пермских людей», «плач церкви пермския», «плачеве и похвала инока списающа»), к длинным речам действующих лиц, к внутреннему монологу. В произведениях Пахомия преобладают драматические ситуации, многофигурная живописная композиция, сложные диалоги действующих лиц.

В. О. Ключевский отметил, что похвала Стефану Пермскому, составленная в форме плачей, относится всецело к литературной манере Епифания: «Такая оригинальная форма похвального слова безраздельно принадлежит одному Епифанию: ни в одном греческом переводном житии не мог он найти ее, и ни одно русское позднейшее, заимствуя отдельные места из похвалы Епифания, не отважилось вос-

¹⁰⁹ И. Г р а б а р ь. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 гг.— «Вопросы реставрации», сб. 1. М., 1926, стр. 65 и сл.

¹¹⁰ В. П. З у б о в. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского»).— «Труды ОДРЛ», т. IX, М.—Л., 1953.

произвести ее литературную форму»¹¹¹. Плачи, выраженные в произведении иного жанра, вообще говоря, очень характерны для домонгольской литературы, где они встречаются в летописи, в ораторских произведениях, в житиях, несколько раз упоминаются и приводятся в «Слове о полку Игореве». Но они характерны и для литературы конца XIV—XV вв. Сравнительно большое место занимает плач Евдокии в «Слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», в начале XV в. он вставляется в текст «Повести о разорении Рязани Батыем» (плач Ингваря Ингоревича) и др.

И плачи, и внутренний монолог, и известная ритмичность речи были характерны уже для домонгольской литературы; в ней же присутствовало и то сильное лирическое начало, которое при всей монументальности домонгольского литературного стиля широко давало себя знать и в «Слове о законе» Илариона, и в произведениях Кирилла Туровского. Епифаний весь замкнут в мягких плавных линиях орнаментальной ритмической речи. Нечто подобное видим мы и в творчестве Андрея Рублева: красочная гамма его зависит от владими́ро-суздальской живописи домонгольской поры, он мягче, лиричнее Феофана Грека. В его «Троице» как бы происходит безмолвный разговор трех ангелов, движения плавны и настроение скорбно.

Случайно ли это обращение двух крупнейших представителей русской культуры на рубеже XIV—XV вв. к художественным традициям домонгольской Руси? Полагаю, что явление это в высшей степени характерно для того времени, к которому оно относилось.

Вторая половина XIV — начало XV в. характеризуется повышенным интересом к домонгольской культуре Руси, к старому Киеву, к старым Владимиру и Суздалью, к старому Новгороду. К Киеву и киевскому князю Владимиру усиленно обращается в это время былевой эпос, продолжается оздание Киевского цикла былин. Народная мысль видит в Киеве и в его князе Владимире символ независимости, единства и силы Руси¹¹².

¹¹¹ В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источник, стр. 94.

¹¹² См. Д. С. Лихачев. Национальное самосознание древней Руси. М.—Л., 1945, стр. 78—81.

В области политической мысли Москва претендует на все политическое наследие Киева и Владимира Залесского. В области летописания Тверь, Москва, Нижний и Ростов претендуют на продолжение традиций киевского летописания: в начало их летописей кладется киевская «Повесть временных лет», татары отождествляются в летописи с половцами, призывы киевской летописи к объединению Руси и борьбе со степью воспринимаются как призывы к борьбе с татарским игом («Повесть об Едигее», 1404 г.)¹¹³. В подражание «Слову о полку Игореве» и как своеобразный ответ на него создается «Задонщина»¹¹⁴. Литературными реминисценциями произведений домонгольской поры пользуются авторы и других произведений («Слово» инока Фомы¹¹⁵ московские летописи¹¹⁶ и т. д.). Составляются новые редакции таких крупных домонгольских произведений, как «Киево-Печерский патерик» (Арсениевская редакция, созданная в Твери в 1406 г.), «Еллинский и римский летописец» (редакция 1392 г. второго вида)¹¹⁷.

С княжения Дмитрия Донского начинается усиленный интерес к памятникам владимирского зодчества. Москва в своем каменном зодчестве продолжает домонгольские традиции Владимира Залесского¹¹⁸. В княжение сына Донского — Василия Дмитриевича — открывается первая в русской истории эпоха архитектурных реставраций и реставраций памятников живописи. В 1403 г. обновляется древний собор в Переяславле-Залесском. В 1408 г. Андрей Рублев и Даниил Черный, по приказу Василия Дмитриевича, возобновляют древние росписи владимирского Успен-

¹¹³ См. Д. С. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 297 и сл.

¹¹⁴ См. Д. С. Лихачев. «Задонщина». — «Литературная учеба», 1941, № 3.

¹¹⁵ См. Н. П. Лихачев. Инок Фомы Слово похвальное о вел. кн. Борисе Александровиче. СПб., 1908.

¹¹⁶ См. А. В. Марков. Один из случаев литературного вымысла в московском летописании. — «Известия ОРЯС», т. XVIII, 1913, кн. 1.

¹¹⁷ См. Д. С. Лихачев. Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы в конце XV в. — «Труды ОДРЛ», т. VI, М.—Л., 1948.

¹¹⁸ См. И. Грабарь. Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918—1925 гг., стр. 65 и сл.; Н. Н. Воронин. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. — «Архитектура СССР», 1940, № 2.

ского собора. Полоса этих реставраций тянулась в течение всего XV в. Она захватила Тверь и Ростов. Особенно заметна она была в Новгороде, где с чрезвычайной интенсивностью восстанавливались «на старой основе» архитектурные сооружения эпохи национальной независимости¹¹⁹.

Реставрация памятников времен независимости Руси вносит своеобразную черту в русское Предвозрождение. Обращение к национальной древности — характерная черта Возрождения и Предвозрождения на всем пространстве Европы, но в каждой стране она имела свои формы и свое содержание, когда обращалась к своей национальной старине. То обстоятельство, что русские не только заимствовали предвозрожденческие идеи в их византийских и южнославянских истоках, но творчески, в соответствии со всем духом предвозрожденческого движения, обратились к своей собственной старине, лучше всего доказывает, что южнославянское влияние не было механическим, что перед нами единое предвозрожденческое движение, в котором Россия, воспринимая многое из южнославянских стран и Византии, занимала отнюдь не подчиненное место.

4. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ В РОССИИ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Черты национального своеобразия русского Предвозрождения с несомненностью доказывают, что влияние византийско-южнославянского Предвозрождения пало на подготовленную почву, что оно в известной мере отвечало потребностям русского общества, закономерно слилось со сходными явлениями в общем развитии русской культуры.

Появление предвозрожденческих элементов в ряде восточноевропейских стран находит свое объяснение в социально-экономическом их развитии.

В России предвозрожденческие элементы в письменности, искусстве и религиозно-богословской мысли обязаны своим возникновением целому кругу социально-экономических факторов. Здесь сказался и рост производительных сил,

¹¹⁹ Ю. Н. Дмитриев. К истории новгородской архитектуры. — «Новгородский исторический сборник». Под общей редакцией академика Б. Д. Грекова. Л., 1937, стр. 120—123.

развитие городов и городской жизни, ремесла (особенно в Новгороде и Москве), внутренней торговли. Вызванные всем этим первые победы в национально-освободительной борьбе повлекли за собой подъем национального самосознания, национального самоуважения, усилили интерес к национальным традициям и национальной старине. Кризис системы феодальной раздробленности, при которой ценность человеческой личности определялась только ее внешним положением на лестнице феодальной зависимости, привел к осознанию ценности личности самой по себе, ее внутренних переживаний, — правда, еще в рамках строго религиозного сознания и в зависимости от все той же лестницы феодальных отношений, продолжавшей сохраняться, но над которой уже постепенно выростала сильная центральная власть, способная менять положение людей по своему усмотрению, в зависимости от их внутренних качеств.

Все эти явления русской действительности XIV — начала XV в. были родственны тем, которые имели место и в жизни южнославянских стран, чем и было обусловлено свободное взаимопроникновение их культур, но окончательное решение вопроса о причинах возникновения предвозрожденческого движения в Византии, у южных и восточных славян может явиться только тогда, когда будет более детально изучена социально-экономическая жизнь XIII—XV вв. К сожалению, эти века наиболее скудны историческими источниками.

* * *

Какова же была ценность культурного общения южных и восточных славян в XIV и начале XV в. для развития русской литературы?

Отрицательное отношение к южнославянскому влиянию в русской письменности может быть отмечено уже для XVI в. Так, в 1552 г. Нил Курлятев в предисловии к переводу с греческого Псалтыри, выполненному Максимом Греком, писал: «и ныне многыя у нас и вся время на книги пишут, а пишут от неразумия все посербски. И говорити по письму по нашему языку прямо не умеют, и многыя неразумныя смущаются. Где надобет по нашему а, а по сербски ъ, или ж по нашему ю, а сербски Ѧ, по нашему о, а сербски х, у нас ы, а сербски и, а речи по нашему не замедли, а сербски, или буде болгарски не замуди, по нашему косно мед-

леннаязычен, или гугнив, а сербски мудноязычен, и прочия речи нам не разумны: бохма, васнь, реснотивие, цѣщи, ашут; и много таковых мы не разумеем — ино сербски, а ино болгарски, и сия доселе не достанет нам лето на повествование»¹²⁰.

Резко отрицательную характеристику значения второго южнославянского влияния для развития русской литературной речи дает А. С. Орлов: «Русские книжники подражали только новой югославянской лексике и фразеологии, засорив этим литературный язык и своих самостоятельных произведений и затруднив его понимание»¹²¹. Далее А. С. Орлов отмечает, что страны Балканского полуострова, обогнав Россию в своем общественном развитии, не смогли якобы передать последней свой изысканный литературный стиль во всей его полноте: «Очевидно, на Балканском полуострове движение общественной жизни уже прошло ту стадию, которая только что намечалась в России. Это и отразилось на качестве подражательной русской агиографии, которая не вполне разобралась в настоящих ценностях югославянского стиля и усвоила преимущественно бьющие в глаза его элементы как наиболее доступные подражанию. Кроме того, русским в данном случае пришлось учиться у югославянских эмигрантов, которые составляли для приютившей их земли образцы не первого сорта потому, что русские сюжеты не затрагивали до глубины югославянских авторов, да и сами заказчики не умели еще быть требовательными»¹²². Среди первых «югославянских выходцев», принесших к нам новый «югославянский стиль», А. С. Орлов отмечает Киприана, «родом серба», и Пахомия, «также серба», а первым их подражателем выставляет Епифания Премудрого¹²³. Все это нам представляется неправильным.

¹²⁰ Архим. Амфилохий. Что внес св. Киприан, митрополит Киевский и всея России, а потом Московский и всея России, из своего родного наречия и из переводов его времени в наши богослужебные книги?—«Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г.», т. II. Киев, 1878, стр. 231—232.

¹²¹ А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв. Изд. 2. М.—Л., 1939, стр. 185.

¹²² А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв., стр. 187.

¹²³ Там же.—Отмечу, что в «Очерках истории СССР» Епифаний Премудрый прямо назван «подражателем» Пахомия Серба («Очерки истории СССР, период феодализма, IX—XV вв.», ч. II. М., 1953, стр.

Новый «югославянский» стиль литературных произведений явился на Русь вместе с целым комплексом новых представлений, вместе с новым художественным методом и новым пониманием задач тех литературных произведений, в которых он применялся, в соседстве с близкими по своему характеру явлениями в области искусства и религиозной мысли.

Поэтому не следует говорить, что русские книжники только подражали «югославянской лексике и фразеологии». На самом деле они были захвачены теми же идеями и настроениями, тем же интересом к внутренней жизни человека. Новые художественно-познавательные открытия в области внутренней жизни человека с несомненностью сказались на стиле, явственно приспособленном к передаче того нового эмоционального мира, который открылся писателям и художникам XIV в.

Новое культурное движение, которое было перенесено на Русь вовсе не механически отдельными «югославянскими эмигрантами», а возникло в результате широкого культурного взаимообщения и книжного обмена, наиболее крупными центрами которого были Константинополь, Афон и монастыри Болгарии, имело внутренние корни в каждой стране.

Следовательно, нет оснований говорить об «образцах не первого сорта» и механических заимствованиях лишь внешних черт стиля.

Отметим, вместе с тем, что те новые художественно-познавательные ценности, которые принесло с собою южнославянское влияние, в значительной мере способствовали поступательному развитию самой русской культуры. Внутренняя жизнь человека должна была быть осознана, искусство и литература должны были быть обеспечены элементами динамизма и экспрессии. Поэтому художественно-познавательные открытия XIV в. должны были быть рано или поздно сделаны, если только сохранялся поступательный ход исторического развития.

385). Между тем Епифаний Премудрый, как уже указывалось, был глубоко оригинальным писателем и никак не мог учиться у Пахомия Серба (тем более подражать ему), который был значительно моложе и сам переделывал произведения Епифания, в значительной степени снижая при этом их ценность.—См.: В. П. Зубов. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (к вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского»).—«Труды ОДРЛ», т. IX: М.—Л., 1953.

С этой точки зрения южнославянское влияние принесло в Россию сильную струю нового, объективно ценного в искусстве и в литературе, что ответило внутренним потребностям развития самой русской культуры и не могло рассматриваться как случайное.

Конечно, элементы случайности в явлениях второго южнославянского влияния были, их даже было не мало, как и во всех случаях иноземных влияний, но не все они были определяющими.

Почерк, орфография могли быть и не такими, если бы они развивались только на своей почве. Но самый характер орфографической реформы, как и самый характер нового литературного стиля, не были результатом одного только механического воздействия, они были связаны с общим умственным движением эпохи.

Если же говорить только о стиле «плетения словес», то и здесь нужно отметить крупнейшую положительную роль этого стиля в развитии искусства слова, в выработке богатых и разнообразных форм художественной выразительности, в обогащении русского литературного языка. Новый стиль заставлял внимательно относиться к значению слов и к оттенкам этого значения, к эмоциональной стороне слова, к ритмике речи, к ее звучанию, обогащая язык неологизмами, новыми заимствованными словами, разнообразными прилагательными, дав обильное количество новых сочетаний слов, новых эпитетов, развив формы прямой речи, монологической и диалогической, расширив эмоциональную выразительность языка.

Заканчивая свой доклад, мне хотелось бы указать на крайнюю необходимость внимательного изучения восточно-европейского Предвозрождения во всех его проявлениях и особенно на необходимость широкого изучения культурного общения славян в XIV и начале XV в. Предстоит провести целый ряд исторических, историко-культурных, лингвистических, текстологических и литературоведческих исследований, прежде чем второе южнославянское влияние в России станет для нас ясным хотя бы в самых общих чертах. У нас еще слишком мало конкретных исследований по частным вопросам. В основу этих конкретных исследований, как мне представляется, должны быть положены следующие первоочередные задачи: во-первых, изучение объема южнославянского влияния, сферы его распространения

на различные области культуры; во-вторых, изучение идейного содержания того умственного движения, которое мы условно определили выше как византийско-славянское Предвозрождение¹²⁴; в-третьих, изучение самого стиля, который был связан со вторым южнославянским влиянием; в-четвертых, текстологическое изучение переведенных и перенесенных в Россию произведений. Текстологическое изучение памятников письменности XIV — XV вв. и их списков поможет осветить пути конкретного проникновения в Россию южнославянского и византийского влияния, степень и характер творческой переработки, поможет изучить происхождение отдельных литературных заимствований как в стиле, так и в содержании и т. д.

Пока эти конкретные исследования не произведены, приходится ограничиваться только постановкой вопросов, цель которых — вывести изучение второго южнославянского влияния на более широкий путь, чем тот, которым оно шло до сих пор.

¹²⁴ Само собой разумеется, учитывая при этом страны Малой Азии и Кавказа.

СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ,
ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ

- ГрЦамбл.** — Григория, архиепископа Росийскаго, похвально иже р святых отца нашего Еуфимиа, патриарха Тръновскаго. — Emil Kaľužniacki. Aus der panegyrischen Litteratur der Südslaven. Wien, 1901.
- ЖАврСм.** — Жития препод. Авраамия Смоленскаго и службы ему. Приготовил к печати С. П. Розанов. — «Памятники древнерусской литературы», вып. 1. СПб., 1912.
- ЖБиГ.** — Жития св. муч. Бориса и Глеба и службы им. Приготовил к печати Д. И. Абрамович. — «Памятники древнерусской литературы», вып. 2. СПб., 1916.
- ЖГрСин.** — Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом. Посмертный труд П. А. Сырку. — «Памятники древней письменности и искусства», CLXXII. СПб., 1909.
- ЖИвР.** — Житие Св. Ивана Рыльского. — Б. Ангелов и М. Генев. Стара българска литература (IX—XVIII вв.) в примери, преводи и библиография. София, 1922, стр. 480—490.
- ЖИлМ.** — Житие и жизнь преп. Илариона, епископа Мегленскаго. — Б. Ангелов и М. Генев. Стара българска литература (IX—XVIII вв.) в примери, преводи и библиография. София, 1922, стр. 491—503.
- ЖРом.** — Монаха Григория Житие преподобнаго Ромила, по рукописи XVI в. имп. Публичной библиотеки, собрания Гильфердинга. Сообщение П. А. Сырку. — «Памятники древней письменности и искусства», СХХVI. СПб., 1900.
- ЖСерг.** — Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV в. Сообщил архим. Леонид. — «Памятники древней письменности», СПб., 1885.
- ЖСтПерм.** — Житие Стефана епископа Пермскаго, написанное Епифанием Премудрым (подготовлено к печати В. Г. Дружининым). СПб., изд. Археографической комиссии, 1897.
- ЖФеод.** — Житие и жизнь преп. отца нашего Феодосия. — В. Н. Златарски. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, издава Българското книжовно дружество, кн. XX. Нова редица, книга втора. София, 1904.
- КонстК.** — Книга Константина Философа и Грамматика о письменнах. — И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. СПб., 1896.
- ПСерб.** — В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908.
-

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Объем влияния	4
2. Характер нового стиля, появившегося в русской литературе с конца XIV в.	16
3. Национальные русские черты в движении Предвозрождения	52
4. Причины возникновения Предвозрождения в России и значение его в развитии русской культуры	60
Сокращения источников, принятые в тексте	66
